

ИСТОРИЯ НЕЗАВЕРШЕННОГО ЦИКЛА «КУЛЬТУРНЫХ ЛЮДЕЙ»

Публикация И. Векслера

I

Печатающийся в собраниях сочинений М. Е. Салтыкова очерк «Культурные люди» — начало незаконченного цикла, прерванного автором в самом начале работы. Таких циклов, не получивших завершения, в литературном наследстве М. Е. мы знаем несколько: «Кому как угодно», «Игрушечного дела людешки», «Дети Москвы» и др. Одни из них писатель распределил по другим своим циклам, другие вовсе не нашел нужным перепечатывать, не считая их заслуживающими внимания. Очерку же «Культурные люди» М. Е. придавал видимо особое значение и включил этот отрывок в свод собрания своих сочинений в виде самостоятельного произведения. Написаны «Культурные люди» в самом конце 1875 г., но тема о «праздношатающихся» занимала М. Е. и до этого времени и после: неоднократно в его произведениях читатель встречает места, в которых сатирические стрелы направляются в адрес «шлюющихся» представителей «русской культурности», в цикле же «Признаки времени» (1866—1869) находим даже самостоятельную главу с примечательным для сюжета «Культурных людей» заглавием: «Русские гулящие люди за границей». Первоначальное заглавие «Культурных людей» — «Книга о праздношатающихся» — убедительно свидетельствует, что в «Культурных людях» автор возвращался к старой своей теме; однако сравнение обоих очерков показывает, что новое произведение строилось на иной, более богатой в идеологическом смысле базе и на наблюдении иной, значительно более раскрывшейся в своей эволюции социальной и экономической действительности, в силу чего авторское обобщение в новом произведении, даже в той начальной его стадии, в какой оно дошло до нас, совершеннее, глубже и полнее раскрывает тип «гулящего», «праздношатающегося» российского дворянина.

«Культурные люди» задуманы и писались во время первого пребывания М. Е. за границей (1875—1876). В письме от 6 августа 1875 г. он сообщал Н. А. Некрасову: «Да затеял я фельетон «Дни за днями за границей» вроде «Дневника провинциала». Я хочу опять Прокопа привлечь. Как вам это кажется?» Замысел «Культурных людей» возник даже несколько раньше этого письма: если иметь в виду, что задуманное произведение М. Е. сближал с «Посмертными записками Пиквикского клуба» Диккенса (письмо к Н. А. Некрасову от 9 сентября 1875 г.), то мысль писать на тему о русских пиквиках надо отнести к началу лета 1875 г., когда М. Е. потребовал присылки ему русского издания названного романа Диккенса. В письме к Н. А. Некрасову от 27 августа 1875 г. писатель подтверждает обещание начать новый цикл — «Дни за днями». В письме к А. Н. Плещееву от 14 октября 1875 г. находим новое указание: «Я задумал написать ряд параллелей: с одной стороны, культурные люди¹, с другой — мужики». Отождествлялись ли эти «параллели» с циклом, «Дни за днями», или писатель одновременно задумывал особый цикл, началом которого должен был служить очерк «Сон в летнюю ночь», установить сейчас трудно; вернее всего, что в письме к Плещееву речь шла об особом цикле (работа над двумя, а иногда и тремя циклами сразу была в манере М. Е.) и только впоследствии

замысел «Культурных людей» слился с замыслом произведения, именовавшегося пока «Дни за днями».

К декабрю 1875 г. цикл очевидно окончательно сложился в творческом сознании писателя: определилось содержание, были намечены вставочные эпизоды, придумано заглавие: «Книга о праздношатающихся», — обо всем этом М. Е. подробно рассказывает в письме к П. В. Анненкову от 2 декабря 1875 г., когда уже была написана первая глава произведения. Под новым заглавием произведение и значится во всех дальнейших письмах М. Е. Из черновика оно перешло в беловую рукопись, и только на каком-то этапе перебеливания черновой рукописи, скорее всего по окончании, М. Е. вычеркивает заглавие «Книга о праздношатающихся» и заменяет новым: «Культурные люди».

Время написания «Культурных людей» определяется следующими датами, которые содержит переписка М. Е.: начата работа в конце ноября 1875 г., окончена в начале января 1876 г.; 1 декабря написана первая глава, 7 декабря вторая, к 12 декабря — третья, 5 января — четвертая и пятая главы².

«Культурные люди», посланные автором в редакцию «Отечественных Записок» из Ниццы 5 января 1876 г., были включены в первую книжку журнала за 1876 г. («Отечественные Записки» 1876, № 1, отд. I, стр. 119—158: «Культурные люди», подпись — Н. Щедрин, ремарка в конце: «Продолжение будет»). Печатание очерка сопровождалось крупным цензурным инцидентом: вместе с другой статьей № 1 «Отечественных Записок» за 1876 г. (А. Ф. Головачева — «Мысли вслух») очерк послужил объектом яростного нападения на номер журнала со стороны цензуры. Цензор Лебедев специально писал о салтыковском очерке:

«Означенный сатирический очерк отличается крайней необузданностью языка и предосудительностью содержания и направления. Под именем культурных людей автор разумеет лица, пропитанные духом бюрократизма и всецело преданные идее во что бы то ни стало сделать себе бюрократическую карьеру, противопоставляя культурным людям так называемых утробистых людей, преданных исключительно еде и питью, тип которых в настоящее время исчезает и немногочисленные представители которых скрылись из Петербурга в провинцию и за границу. Культурные люди, т. е. бюрократы, забрали в руки все общество и административные места, не стесняясь никакими средствами для достижения цели; по большей же части такими средствами служат доносы и шпионство (стр. 120, 122, 125³), имеющие ныне полный успех, так что всякий остерегается сказать какое-нибудь неосторожное слово, без всякого умысла, чтобы не пострадать от чьего-либо усердия, не подвергнуться истреблению, как выражается автор. Понятие о чести у утробистых людей он ставит гораздо выше нынешних культурных и вообще клеймит беспощадно современное общество, в котором желание выслужиться и холопство заглушили все лучшие человеческие инстинкты (стр. 124). Если бы автор своей сатирой бичевал общественные пороки, что весьма естественно составляет назначение сатиры, то в этом нельзя было бы найти ничего предосудительного, но в сатире Щедрина между строк ясно проглядывает желание выставить на позор не одни общественные недостатки, но и тот государственный порядок, который не только делает возможным подобные уродливые явления в общественной жизни, но и потворствует им. Так например, и в этом очерке олицетворением всего гадкого является какое-то влиятельное в губернии лицо (Солитер) и вообще лица, власть имеющие; шпионство и согладательство сделалось, по словам автора, явлением чуть ли не узаконенным, достигающим всегда полного успеха, так что порядочным людям оставалось одно — бежать из этой душной атмосферы. Сверх этого неблагонамеренного направления, в означенном очерке встречаются отдельные места, отличающиеся крайнею предосудительностью, как, например, на странице 120, 124 и 127».

Вмешательство высшей цензурной власти избавило эту книжку журнала от судьбы, постигшей пятую книжку в 1875 г.; но книжка потерпела урон: статья Головачева была вырезана, а в «Культурных людях» появились цензурные купюры. Изъятыми оказались следующие два места в произведении М. Е.:

1) «...Я сам бунтовал-с... в пользу законной власти-с! Я Анну Леопольдовну, регентшу-с, в одной сорочке из опочивальной вынес — и был за то деревеню в пятьсот душ награжден-с! Извольте, сударь, идти вон!» А дедушка мой сказал бы: «Я в Ропше, государь мой, был и оттуда на сером артамаке до Зимнего дворца за великою государыней следовал-с... Извольте идти вон!»

2) «...По части финансов я знаю: дери шибче, а в случае недобора — бесстрашно заключаай займы! Что же касается до того, как и на какой бумаге ассигнации печатаются и почему за быстрое отпечатывание таковых в экспедиции заготовления государственных бумаг дают награды и ордена, а за отпечатание в Гуслицях на каторгу ссылают — ничего я этого не знаю. Вот разве по сыскной части... ну, нет, Солитер! Этому пока не бывать! Хотя по этой части и действительно никаких познаний не требуется, а только культурность одна, но ведь я еще не забыл, что мой прадедушка регентшу Анну Леопольдовну в одной сорочке из опочивальной вынес! Нет, не позабыл! Ибо ежели я самолично ничего не совершил, даже «чистосердечного в том раскаяния не принес», то прадед мой...»

Следы второго изъятия ясно видны в журнальном тексте: стр. 126, 127 и 128 журнала перебраны, при чем стр. 126 и 127 набраны шрифтом менее энономной гарнитуры, а на стр. 128 дан ряд точек; изъятие на стр. 128, возможно, было произведено кем-то еще в гранках.

Кроме этих относительно больших купюр в журнальном тексте, сравнивая его с авторской рукописью, находим ряд других более мелких купюр и изменений⁴.

Цензурные купюры и первоначальные авторские редакции отдельных мест восстановлены в тексте первого издания собрания сочинений М. Е.: «Сочинения М. Е. Салтыкова (Н. Щедрина). Том четвертый. Издание автора». Спб., 1889, стр. 571—602. Вообще же текст «Культурных людей» в этом издании чрезвычайно близок к беловому рукописному тексту и варьирует от него весьма немногими и незначительными по содержанию разночтениями. Характер последних, а равно сноски в конце текста: «По обстоятельствам осталось незаконченным. Примечание автора»⁵ — свидетельствуют, что над текстом «Культурных людей», включенным в первое собрание сочинений, работал сам М. Е. Когда им проведена работа, точно установить за отсутствием данных нельзя.

С историко-литературной точки зрения представляет большой интерес вопрос: почему, задумав цикл о «праздношатающихся», сатирик не пошел дальше первых пяти глав и каковы были те «обстоятельства», на которые он ссылается и по которым произведение осталось незаконченным. В переписке М. Е. имеется ряд указаний на замысел цикла, на условия, в которых первые пять глав написаны, на переживания писателя в связи с тем, что цикл оттянулся продолжением, но нет прямого ответа на вопрос — почему М. Е. не продолжал цикла, и о причинах этого мы можем только строить предположения.

Задуманный в манере «Посмертных записок Пиквикского клуба», цикл представлялся М. Е. юмористическим произведением, брызжущим весельем, как брызжет им произведение Диккенса. О своем намерении написать «веселое» Салтыков несколько раз писал Н. А. Некрасову: «Думаю, что будет нечто веселое»; «С нового года начну целый ряд вроде «Пиквикского клуба». Начало у меня уже навертелось: будете довольны»; «Вещь, которую я полагаю начать с будущего года, должна иметь юмористический характер. Увидим, оставила ли во мне болезнь столько юмору, чтобы наполнить 15 листов» (письма от 22 августа, 9 сентября и 10 ноября 1875 г.). Работа началась, но М. Е. видимо почувствовал, что «веселое» ему не по средствам: письма к А. Н. Еракову (21 декабря 1875 г.), П. В. Анненкову (5 января 1876 г.), Н. А. Некрасову (10 января 1876 г.) наполнены жалобами: «Не идет да и полно»; «Надо бы все бросить»; «У меня не было веселости, которая тут⁶ особенно нужна», и т. д. Затем в ряде писем к Н. А. Некрасову уже после того, когда первые пять глав были написаны и напечатаны, М. Е. категорически отказывается продолжать работу над циклом, ссылаясь на тяжелое состояние здоровья, на неблагоприятные условия своей заграничной жизни, и убедительно несколько раз просит Некрасова дать объявление, почему не продолжа-

ется цикл «Культурные люди». Конечно все обстоятельства, на которые указывал М. Е. как на препятствовавшие работе над «Культурными людьми», имели место, но эти же обстоятельства не мешали автору продолжать цикл «Благонамеренные речи», писать публицистические статьи («Отрезанный ломоть») и т. д. Больше того: когда автор возвратился в Россию, почти все неблагоприятные обстоятельства, исключая разве болезненное состояние, отпали, но цикл остался незаконченным. Повидимому причиной этого явились не те обстоятельства, на которые ссылается автор, а иные, о которых он предпочитал умалчивать.

Выше было указано, как встретила цензура публикацию «Культурных людей». Встреча не предвещала автору ничего радужного впереди, если принять во внимание замысел и намечавшийся автором план дальнейшей работы. Исчерпывающие указания на них находим в цитированном выше письме к П. В. Анненкову от 2 декабря 1875 г. Вот строки этого письма, непосредственно сюда относящиеся:

«Теперь я задумал «Книгу о праздношатающихся» писать и вчера первую вступительную главу кончил. А так как руки у меня нужда подгоняет, то, конечно, в 1-м № «Отеч. Зап.» 1876 года глав семь или восемь появятся. Тут вы увидите многое множество лиц: и фальшивого Бисмарка, которого за сто марок в Берлине русским (и то потому, что русские) показывают, и мятежного хана Хивинского, и чиновника, который едет за границу лечиться от воссы, и генерала, который черту душу продал, и проч. Все это будет происходить постепенно. Шпион явится, литератор, который, в подражание «Анне Карениной», пишет повесть «Влюбленный бык». Смеху довольно будет, а связующая нить — культурная тоска. Хотел бы и практически попробовать — после болезни меня все в эту сторону тянет. В виде эпизода хочу написать рассказ «Паршивый» — Чернышевский или Петрашевский все равно. Сидит в мурье среди снегов, а мимо него примиренные декабристы и петрашевцы проезжают и насвистывают «боже, царя храни», вроде того, как Бабурин пел. И все ему говорят: стыдно, сударь, у нас царь такой добрый — а вы что! Вопрос: проклял ли жизнь этот человек или остался он равнодушен ко всем надругательствам? И все в нем старая работа, еще давно, давно, до ссылки начатая, продолжается. Я склоняюсь к последнему мнению. Ужасно только то, что вся эта работа в заколдованной клетке заперта. И этот человек, недоступный никакому трагизму (до всех трагизмов он умом дошел), делается бессилен против этого трагизма. Но в чем выражается это бессилие? Я думаю, что не в самоубийстве, но в простом окаменении. Нет ничего, кроме той прежней работы — и только. С нею он может жить, каждый день он эту работу думает, каждый день он ее пишет, и каждый день становой пристав, по приказанию начальства, отбирает эту работу. Но он и этим не считает себя в праве обижаться: он знает, что так должно и быть...»

Комические темы о Бисмарке, о мятежном хане хивинском, о жандарме, продавшем душу чорту, — в написанной части «Культурных людей» только запроектированы, но и в этом виде начало работы вызвало цензурные гонения; совершенно очевидно, что развернутая реализация этих тем, по причине их политической остроты, была совершенно немыслима. И совсем нецензурной конечно была тема о «паршивом» («Чернышевский или Петрашевский все равно») с его единой мыслью, и о «насвистывающих» «боже, царя храни» прощенных декабристах и петрашевцах. Понятно, что при таком замысле произведения и при наличии факта цензурного гонения даже на первые его главы попытка продолжать задуманное представлялась сатирику явно безнадежной. Это, совершенно очевидно, — одна из причин незаконченности «Культурных людей». Но есть основание предполагать, что в творческой истории «Культурных людей» имело значение и еще одно обстоятельство чисто творческого порядка. Как указано выше, сам М. Е. в какой-то степени «сближал «Культурных людей» с романом Диккенса «Посмертные записки Пиквикского клуба». Направленный против социальных зол «старой» буржуазной Англии роман 24-летнего Диккенса тем не менее не во всем поднимается до общественной сатиры; часто это — тонкий и веселый смех над маленькими недостатками общественного механизма. Только в описании тюрьмы Флит веселая комедия нравов переходит в жуткую социальную драму. Ни русская общественная жизнь, ни та поли-

тическая позиция, с которой Салтыков оценивал ее явления, ни самый его талант, писателя-сатирика по преимуществу, не могли служить к построению произведения полностью в духе романа Ч. Диккенса. «Расположение духа какое-то трагическое», — как определял автор свое душевное состояние, отговариваясь от продолжения «Культурных людей» в письме к Н. А. Некрасову от 8 мая 1876 г., — вызывалось не только причинами биологического порядка, а всю совокупностью обстоятельств и, надо полагать, главным образом обстоятельствами политической обстановки в России⁷. «И в «Культурных людях» трагический элемент будет, только потом. Теперь надо, чтобы было весело», писал М. Е. в цитированном только что письме к Некрасову. Но «весело» не было: и в своем начале «Культурные люди» — трагедия, и в том, что нам известно из авторских замыслов, преобладает трагический элемент. Революционная сатира Салты-



М. Е. САЛТЫКОВ (Н. ЩЕДРИН)

Фотография 1870-х гг.

Институт Русской Литературы, Ленинград

кова в «Культурных людях», бывшая по вчерашним «чистопсовым», ныне «культурным» Прокопам, по объятых «культурной тоской» культурным дворянским одиночкам, по действительным статским и тайным советникам Солитерам и Стрекозам, по разочарованным жандармским генералам, по явлениям жизни, заставлявшим «складываться петель» язык, — не имела ничего общего с добродушным смехом Диккенса. В форму буржуазного реалистического романа революционная салтыковская сатира не вмещалась: отсюда субъективное ощущение творческой неудачи в работе над «Культурными людьми», на которую сатирик так часто жалуется в своих письмах к разным лицам. Объективно же «Культурные люди» — зрелое и совершенное произведение, художественную ценность которого, когда прошла острота сознания «неудачи», признал и сам автор, включивший «Культурных людей» в собрание своих сочинений. Необходимо однако отметить, что метод Диккенса автор сделал попытку применить еще раз, через несколько лет, — и на этот раз очевидно с более удовлетворившими его результатами (см. гл. VI и след. цикла «Современная идиллия»).

II

Указанные выше печатные тексты «Культурных людей» — изуродованный журнальный и выправленный автором вошедший в первое издание Собрания сочинений — составляют печатные источники текста произведения; кроме них, имеется два рукописных: черновая рукопись — «Книга о празднующихся», текст которой воспроизводится ниже, и беловая, наборная. Обе хранятся в ИРЛИ АН. Разумея черновую рукопись, М. Е. писал Н. А. Некрасову: «Потрудитесь также распорядиться, чтоб 1-ю книжку журнала мне выслали в день выхода, потому что черновая у меня осталась очень неполная, и, в случае продолжения «Культурных людей», мне будет необходимо иметь первые пять глав». Характеристика «неполная» недостаточно определяет отличие рукописи «Книги о празднующихся» от рукописи «Культурных людей». «Неполнота» в черновой рукописи, сравнительно с беловым текстом, действительно имеет место, но не только неполнота, а и очень резкие отличия в редакции, в разворачивании сюжета и т. д. Сравнение двух рукописей приоткрывает несколько завесу над творческим процессом Салтыкова, и этим оправдывается, в интересах исследователей салтыковского творчества, полное воспроизведение на страницах «Литературного Наследства» черновой рукописи очерка.

Кроме пропусков, которые имеются в черновой рукописи и обозначены в тексте рядами точек (см. ниже стр. 48, 52 и 55), пропусков, интересных в качестве особенностей приемов салтыковского письма — откладывать словесное оформление некоторых частей произведения на последующее время, когда узор всей ткани начатой работы будет ясен, — в черновой рукописи, по сравнению с беловым и печатными текстами, имеется другой ряд «пропусков», т. е. мест произведения, созданных во второй стадии творчества — в процессе перебеливания. Это нередко очень значительные по объему и совершенно новые, по заключенным в них мыслям, куски произведения⁸.

Беловые дополнения к черновому тексту вместе с теми, которые восполнили сознательно сделанные пропуски, свидетельствуют об интенсивности творческого напряжения в процессе перебеливания рукописи. Еще в большей степени об этом говорят творческие переработки отдельных частей текста, выброшенные части текста, переделки и т. д. Таким образом процесс перебеливания был для автора процессом критического восприятия чернового текста и чрезвычайно тщательной переработки отдельных его мест. Многое из опущенного автором или получившего другую редакцию тем не менее представляет чрезвычайный интерес частью в художественном отношении, частью в идеологическом. Не ставя перед собой задачу отметить здесь все изменения текста, отметим важнейшее:

Стр. 30, строка 2 сн. и след.: о недающейся в руки конституции — опущено.

Стр. 31, строка 2 сн.: «А, впрочем, конституция — ведь это и есть «уложение» и т. д. — опущено.

Стр. 32, строка 8 св.: «Да, некуда теперь деваться» и т. д., кончая словами: «и... что?» — опущено.

Стр. 32, строка 16 св. и след.: о «прожженных», читающих «что-нибудь» зажигательное в пользу вдов и сирот», — опущено.

Стр. 32, строка 19 сн.: о господине Глисте, совмещающем прелюбодеяние с сыском, — опущено.

Стр. 34, строка 4 сн.: о недостаточном рвении «культурных людей» в области «содействия», не заирая на грядущее светопреставление», — опущено.

Стр. 35, строка 9 сн. и след.: о несостоявшемся опыте истории «культурных людей» и об историках вообще — опущено.

Стр. 41, строка 29 сн.: не попавшая в текст справка — что «Прокоп» — не имя героя, а кличка в честь рязанского патриота Прокопа Ляпунова. Этот отрывок черновика расшифровывает и географическое место деятельности Прокопа и Солитера, скрытое в белом тексте под псевдонимом «Залупск», — опущено.

Стр. 41, строка 17 сн.: историческая справка о службе Лизоблюдов при Гришке Отрепьеве — опущено.

Стр. 42, строка 9 св.: детальная картина «уездной политики», связанной с дворян-

скими перевыборами, и роль в ней Надежды Лаврентьевны — заменено действием «наливных плечей» Надежды Лаврентьевны на умы и сердца залупских «культурных» людей и Солитера.

Стр. 42, строка 9 сн. и след.: эпизоды из истории воспитания Прокопа — опущено.

Стр. 44, строка 13 сн.: сценки с Гаврюшей — опущено.

Стр. 44, строка 8 сн.: большая сцена с генералом: намеки на характер его «болезни», шуточки над ним Прокопа — опущено.

Стр. 49, строка 23 сн.: неожиданный дар русской речи у восточного человека — опущено.

Стр. 51, строка 20 св.: о «кадетском корпусе для приготовления адвокатов» на станции Булатниково под Муромскими лесами — опущено.

Стр. 52, строка 25 сн.: монолог Стрекозы об «осязательной правде» и «правде юридической» — опущено.

Стр. 53, строка 8 св.: двойственное чувство рассказчика при рукопожатии Стрекозы — опущено.

И ряд других.

Произведены также и изменения сюжетного порядка: дочерей у Прокопа две (обе перешли и в беловую рукопись, но потом текст был изменен и осталась одна Наташенька; любопытно, что к концу повествования Наташенька осталась одна и в черновой рукописи (стр. 53, строка 23 сн.: «—Так эти дамы его жена и дочь?»); среди спутников Прокопа значится и литератор с газетой.

По черновому варианту повествованием генерала о продаже души чорту должна была заключаться третья глава (см. стр. 48), но автор остановился перед трудностями повествования, отложил генеральский рассказ и принялся за главу четвертую. Трудности были несомненно цензурного порядка: в сатирическом плане предстояло дать описание подвигов жандармского ведомства в эпоху белого террора 60-х годов, подвигов, от которых даже «не весьма стыдливая Клио зарумянилась». При перебелении рукописи повествование генерала также не было оформлено: перед ним обрывается глава пятая белового текста и с него должно было начаться продолжение произведения. Продолжения не последовало, и это укрепляет мысль о том, что среди «обстоятельств», по которым произведение осталось незаконченным, трудности цензурного порядка были главнейшими.

Любопытен также в черновом тексте ряд сюжетных срывов: кроме уже указанного (о числе дочерей у Прокопа), имеется и другой: в главе третьей ушедший от Лизоблюдов генерал (стр. 46, строка 26 св.) всего через несколько строк оказывается продолжающим беседу (стр. 46, строка 5 сн.).

К числу особенностей чернового текста принадлежит и переименование в процессе письма действительного советника Глиста в действительного советника Солитера (стр. 35, строка 25 сн.): решение произвести это переименование явилось на стр. 4 рукописи и отмечено на полях — «Солитер» с заключением слова в кружок. К особенностям текста относится и вторичное возвращение авторской мысли к «старым» действительным статским советникам — Довгочунам, Неуважай-Корытам, Ивановым, Федоровым, Семеновым, с отличающими их от Солитра их резолюциями (стр. 35, строка 25 сн. и стр. 37, строка 17 св.). Конечно в беловой рукописи все недочеты были устранены.

В остальном черновой и беловой тексты, имея некоторые, весьма немногие, совпадающие страницы, изобилуют огромным количеством мелких и значительных различий, до такой степени делающих оба текста разными, что, несмотря на наличие в беловом тексте большого числа авторских выпусков явно цензурного порядка, восстановить их в каноническом тексте произведения, в силу различия текстов, не представляется возможным.

III

Черновая рукопись — четыре полных листа писчей бумаги большого формата, с обычной для салтыковских черновилов подготовкой: слитб посредине и заполнение текстом левой стороны страницы. Заполненных текстом страниц в рукописи 15.

Беловая рукопись — 16 страниц почтовой, большого формата бумаги того же вида, что и другие беловые рукописи произведений М. Е., присланных из-за границы: «В погоню за идеалами», «Непочтительный Коронат». Серые пятна свинца на рукописи подтверждают, что здесь мы имеем дело с наборной рукописью. Выше показано, что перебеление рукописи представляло сложный творческий процесс, в силу чего беловая рукопись изобилует поправками, вычерками и т. п. Из авторских вычерков в беловой рукописи некоторые сделаны по явно цензурным соображениям; воспроизводим здесь главные из них, так как, по нашему мнению, они должны быть включены в канонический текст «Культурных людей».

1) После гадания, как жили бы «прожженные», если бы «культурные», не приняли их в свою среду (т. IV, стр. 613, стр. 38 пятого издания):

«а не стали бы в культурные гнезда залезать и культурных птенцов оттуда таскать. А культурные люди об конституциях бы разговаривали. А то натко! скоро, пожалуй, и об конституциях разговаривать некому будет: по одному, по одному — всех перетаскали» (намек на аресты 60-х годов среди либерального и фрондирующего дворянства).

2) После утверждения, что и «содействие» не способно оживить человека (стр. 618, строка 6 того же издания):

«И в «содействии» — не бог знает прелесть какая: не все же содействовать — захочется когда-нибудь и «действовать». Где? как?»

3) Воспоминание рассказчика о наездах в Петербург, чтобы «претерпеть, а потом навестать» (стр. 619, строка 28), заканчивалось вычеркнутыми из текста словами:

«Ну и меня принимали, потому что все мы в то время, от мала до велика, одним товаром — крепостным правом торговали и, стало быть, все друг друга поручителями были».

4) Предполагавшаяся речь Прокопа на случай примирения с его превосходительством Солитером и «содействия» последнему (стр. 622, строка 1 того же издания) не только была распространеннее, но сопровождалась и комментарием рассказчика об оскудении дворянства «культурными» элементами:

«Я... нынче, наверно, у самого каблука его превосходительства стою — сверху-то мне перспектива виднее! Вы, лягушки, квакайте в болоте, а мы с его превосходительством, вроде аистов, сидим на пригорке да и нагреем! Ах, аист, аист! На кого нагреешь-то ты, птица бестолковая? Ведь, чай, все на своих на чистопсовых же, от них же и сам ты! Да и болото-то, смотри, уже пустыня-пустынею стоит: скоро и зацепить там нечего будет».

Переработка наиболее рискованных в цензурном отношении мест черновика очерка, опущенный рассказ жандармского генерала о продаже души чорту, вычерки всего казавшегося нецензурным уже из белого текста, как показано выше, не спасли очерка от цензурных гонений: естественно поэтому предполагать, что цензурные трудности главным образом и заставили сатирика приостановить начатый цикл.

И. Векслер

КНИГА О ПРАЗДНОШАТАЮЩИХСЯ

Глава 1-я

Я сидел дома и по обыкновению не знал, что с собой делать. Чего-то хотелось: не то конституции, не то севрюжины с хреном, не то взять бы да ободрать кого-нибудь. Заполучить бы куш хороший — и в сторону. А потом, «глядя по время», либо севрюжины с хреном закусить, либо об конституции помечтать. Ах, прах ее побери, эту конституцию! Как ты около нее ни вертись, а не дается она, как клад в руки! Кажется, миллион живых севрюжин легче съесть, нежели эту штуку заполучить.

И что это за конституция такая, и для чего мне ее вдруг захотелось — право и сам не знаю. Будет ли при этой конституции казначей? — мелькало у меня в голове. Коли будет — ну, тогда, конечно... Ах, хорошо бы такую должность заполучить! Образ казначея при конституции минут с десять неясно, словно изморозь, кружился перед моими глазами и так приятно при этом на меня действовал, что я даже потянулся. Вот при уложении о наказаниях нет казначея — оттого, может быть, оно и дано нам. А, впрочем, конституция — ведь это и есть уложение... а мы-то тоскуем!

Я человек культуры, потому что служил в кавалерии. И еще потому, что заказываю платья у Шармера и обедаю по субботам в английском клубе. Там всё культурные люди обедают. Нынче в английском клубе, впрочем, всё чиновники преобладают. Длинные, сухие, прожженные. Шепчутся друг с другом, секреты из высших сфер сообщают, судьбы какие-то решают, словом сказать, даже за обедом себя прилично вести не умеют. А на роже так и написано: чего изволите? Того гляди, скажешь ему: а принеси, братец, бутылочку... Смотришь, ан у него звезда сбоку. Настоящих культурных людей, утробистых, совсем мало стало. Да и те, которые остались, как-то развратились. Всё за чиновниками следят, как они между собой шепчутся, словно думают: что-то со мной теперь сделаю! И глаза какие-то подлые, ласковые у всех, когда с ними какой-нибудь чиновный изверг заговорит...

Говорят, что утробисто-культурные люди все в Москву перебрались или по своим губернским городам засели. Там будто бы они едят и пьют и об политике разговаривают на всей своей воле. Только об губернаторах говорить не смеют. И губернаторы, говорят, очень за этим следят, чтобы про них пустяков не рассказывали, а ежели что — сейчас того человека: фюить! Оттого об них и не говорят. А о прочих предметах, как то: об икре, об севрюжине, об свинине, даже об Наполеоне III — говори, что угодно. Можно, впрочем, сказывают, и об конституции молвить, ежели ты выпить любишь и губернатор знает это — донесут: такой-то, мол, ваше превосходительство, вчера за ужином в клубе об конституции разговаривал. — Пьян, что ли был? — Точно так, ваше превосходительство! — Ну, оставьте его: он... он благонамеренный! И оставляют.

Уж не удрать ли, в самом деле, туда, в губернский город Залупск? Хорошо ведь там. Утром встанешь, не торопясь умоешься, не торопясь чаю напьешься — гляди-ка, уж двенадцать часов ка дворе. Потом походишь, покуришь, поспишь, кто-нибудь заедет — пора завтракать. После завтрака опять походишь, покуришь, а ежели скука уж очень начнет одолевать — тройку заложить велишь. А-ах! у-ах! Эх вы, соколики!.. бесподобно! Воротишься — ан обед на столе. В комнатах тепло, светло, щи, солонина с хреном поросенок с кашей... Солонина мягкая-мягкая — ешь да язык не проглоти. И никогда один не обедаешь. Ежели настоящий человек не наклонится, так секретарь какой-нибудь, наверное, забежит. Всё расскажет: кто кому плюху дал, кто кого по лицу калошей ударил... ба! половина девятого — не пора ли и в клуб! А в клубе уж все в сборе и все утробистые. Кто в карты играет, кто о прежнем благополучии рассказывает, и один по одному, в буфет да в буфет. Постепенно-постепенно — и вдруг: конституция! А что ж такое, что конституция! Приедешь домой, ляжешь спать — сном всё пройдет! А на другой день, — и опять.

Да; а вдруг ежели... Ах, нынче и в провинциях много этих поджарых развелось. Ищут, нюхают, законы подводят. И в клубы проникли: сперва один, потом другой, потом, глядишь, уж и в старшины попадать начали. Брякнешь при нем: конституция! — а он: вы, кажется, существующей

формой правления недовольны?.. А мне что!.. форма правления... эка не видаль! Какая тут форма правления! Я так... сам по себе... Разговаривал!

И вдруг ты — не на хорошем счету! и вдруг — фюить!

Сами утробистые во всем виноваты. Это в то время, как прожженные только что появились в губерниях — тогда надобно было меры принимать. Явился прожженный — и с богом, живите, сколько вас есть, про себя. Играйте друг с другом в преферанс, ездите друг к другу в гости, угощайтесь, напивайтесь, прелюбодействуйте, но в наш культурный клуб — ни-ни! Валяй, братцы, черняков, чтобы вперед не повадно было. [Жили]⁹ бы теперь культурные люди припеваючи, и не таскали бы у них из гнезд их культурных птенцов. И разговаривали бы об конституции, покуда живы, а умерли, дети бы разговаривали... И шло бы себе по-тихоньку да по-маленьку. А то натко! скоро уж и разговаривать некому будет!

Да, некуда теперь деваться: изгажены наши провинциальные палестины, испакошены. В Петербурге долговязые глисты первого сорта шепчутся, а в Залупске долговязые глисты второго сорта шепчутся. Так бы, кажется, и... что?

Нет, нынче утробистый человек гляди в оба, несмотря на то, что ему благосклонно присвоено название культурного. Пришел в клуб — проходи стороной, не задеть бы вот этих двух вырождков, которые по секрету об тебе суждение имеют. Ты его заденешь, а он тебе смягчающих обстоятельств не даст, либо сына у тебя живьем задерет! Сторонись же и иди прямо к буфету, пей молча водку и молча закусывай, потому что если ты рот разинешь — это может оскорбить вон тех двух вырождков, которые тоже по секрету рассуждают, какому роду истребления тебя подвергнуть. И потому садись за обед и ешь до отвала. Вздыхай и ешь...

Да, много виноваты утробистые в печальной судьбе своей, но ведь, с другой стороны, нельзя и осуждать их слишком строго. Прожженные люди, именно, как глисты, втерлись в среду культурных людей. Всё о благосклонности просили, зане надежду на земскую культурную силу полагали, да сами же первые и об конституции заговорили. Да как еще заговорили-то! С хохотом, с визгом, с слюною... В лицах всякую форму правления представляли, песни пели, брудершафты предлагали... Ну, культурный человек и смяк. Видит, малые разухабистые, на всякую штуку: и поплясать, и представить, и прочесть что-нибудь зажигательное в пользу вдов и сирот — на всё мастера. Милости просим! да вы попросту! пообедать... Вечерком к жене... Да в клуб! Что же вы в клуб! там у нас танцы по воскресеньям... жена, дочери... пожалуйста! Вот и заползли они всюду, а как заползли, так сейчас — цап-царап! «Вы, кажется, формой правления недовольны?» Ах, прах-те поberi! Я так... сам по себе... а он: форма правления!

И жены наши тоже довольно тут виноваты, больше даже, нежели утробистые. Легкомысленны наши жены, ах как легкомысленны! А глисты эти прожженные так и вьются около них, так и шепчут, и шепчут. У иной от этого шопота и грудь поднимается, и глаза искрятся, и лицо полымем пышет. — Ты что ж, душенька, к нам мсьё Глиста не пригласишь? — Глиста! ах, сделайте милость! Господин Глист! милости просим! запросто! вечером, обедать... вот жена!

А господин Глист между тем пакость в уме держит. И всё насчет формы правления. Он и прелюбодействует-то неспроста, а словно думает: хорошо, что я теперь знаю, как у него в доме обыск сделать!

Нет, совсем нет у культурных людей ни предусмотрительности, ни *esprit de corps*¹⁰. — Тех утробистых представителей культуры, с жирными

Описи рукописей
в библиотеке
Ленинградского
Государственного
Университета

876 2476
X 2476
1576 1818 =

190
160
160

Лена Волковская

Лена, бы, казавшись, дитя

Т. Козловский, др. 1917

Л. О. В. Козловский

Л. В. Козловский, др. 1917. М. 1917.
М. 1917. М. 1917. М. 1917. М. 1917.
М. 1917. М. 1917. М. 1917. М. 1917.

Лена Волковская

Судя по всему, это рукопись, написанная в 1917 году. В ней содержится описание различных событий и действий, связанных с празднованием. Текст написан в старорусском стиле, с использованием церковнославянских слов и фраз. В рукописи есть много сокращений и помет, которые могут быть связаны с процессом написания или с тем, как текст был использован. В некоторых местах текст кажется записанным в спешке, что может указывать на то, что это была рабочая версия документа. В целом, рукопись представляет собой интересный исторический документ, который может быть полезен для изучения культуры и истории того времени.

кадыками, с пространными затылками, которые, завязавшись салфеткой, ели и «независимо» сквернословили, — нет и в помине. Нынешний культурный человек либо на теплые воды удрал, чтобы там изумлять мир своею культурностью, либо сам в «поджарые» ползет. Только и слышишь кругом: да отчего же нам не доверяют! отчего к нам за содействием не обращаются! разве мы хуже действительного статского советника Глиста! Да нас только помани... да мы... А ежели у вас такая охота смертная, так что же! Мы не прочь! Рапортуйте, любезные, рапортуйте! фу, подлость! Живешь-живешь — а всё словно грудной ребенок должен *permettez moi de sortir*¹¹ спрашиваться. Мне пятьдесят лет — а я на всей своей воле об конституции пометчать не могу. Разве я что-нибудь говорю? разве я переменить что-нибудь хочу? Да мне — христос с ними! Я так... разговариваю...

Хочешь ему сказать: да вы что, в самом деле, милостивый государь! Да я сам моего государя дворянин! Я в кавалерии, государь мой, служил! В походах не бывал, но на походном положении... и даже в лагерях... да-с! Хочешь сказать всё это, и молчишь! Потому что повсюду, во все углы, во все щели клубов — везде они напозлали. Смотрят и улыбаются, словно вот говорят: ты думаешь, я и не знаю, что у тебя в затылке шевелится... всё, мой друг, знаю, и при случае...

Вот это-то «при случае» и сбивает культурную спесь. Так оно ясно, несмотря на свою внешнюю таинственность, что даже клубные лакеи и те понимают. Прежде, бывало, кому первый кус? — культурному человеку, которому и по всем правам он следует. А нынче, смотришь, культурного человека обходят да обходят, а всё ему, всё действительно статскому советнику Глистову. Ну, и опешались. Позвольте я вашему превосходительству рапортовать буду! — Рапортуй, братец, рапортуй!

Подлость, подлость и подлость! Скоро мы услышим: у меня, ваше превосходительство, сын-мерзавец превратными идеями занимается... Фуй, мерзость!

Да, смяк ты, утробистый человек, совсем никуда не годишься! Никто с тобой не разговаривает, везде тебя обносят, жене твоей подлости в уши нашептывают. Скучно, друг! И дома у тебя тоска, и в клубах твоих тоска, и в собраниях твоих, этих палладиумах твоих вольностей, — какая-то жгучая, надрывающая пустота царит. Не метено, не чищено, окна трясутся, не топлено, угарно... Рапортуй, мой друг, рапортуй!

И именно с тех пор ты смяк, как культурным человеком назвался. С тех пор и действительный статский советник Глист обвился кругом тебя, с тех пор ты и к рапортам учинился привычен. Культурность обязывает. Культурный человек «содействует» не потому, чтоб у него охота содействовать была, а потому, что он не может не содействовать. Культурный человек да не содействует — что же это будет! Действительный статский советник душу свою за общество полагает, потеет, приглядывается, принюх[ив]ается, а никак он ни до чего донохаться не может. А отчего? — оттого, что кругом всё утробистые да чистопсовые: спят, лежат, лежат, и не чувят, что не нынче, так завтра светопреставление будет! Проснитесь же, чистопсовые люди, и будьте отныне культурными! Познайте, что культурность обязывает! Рапортуй, мой друг, рапортуй!

Вот почему мы, культурные люди, так тоскуем. Никто в целом мире ни в какую эпоху истории так не тосковал, как мы тоскуем. Мы чувствуем, что жизнь ушла от нас, и хотя и цепляемся за нее при пособии «содействия», но не можем не сознавать, что это совсем не то, совсем не та жизнь, которой мы, по культурности своей, заслуживаем. Мой прадед, например, если б ему заикнулись о «содействии» — я, право, не знаю, что

бы он сделал. Наверное, он бы сказал: я, ваше превосходительство, государю моему слуга, а не лакей-с! Я сам бунтовал-с! да-с! Анну Леопольдовну, регентшу-с, в одной рубашке из дворца вынес... и был за это награжден-с! А дедушка мой сказал бы: я в Ропше был-с! а потом следовал на сером аргамаке за великою государыней в Петербург. Как вы, государь мой, назовете этот проступок, заблуждением или подвигом благородного человека? А отец мой сказал бы: я тоже заблуждался, и хотя после принес чистосердечное в том раскаянье, но не содействовал-с! нет, не содействовал-с! И все они были бы обижены, и будировали бы, непременно будировали... до тех пор пока им не прислали бы Станислава на шею! Но не за содействие-с! Нет, не за содействие...

А я, правнук, внук и сын,—что я скажу! Я могу сказать только, что я культурный человек, и в этом качестве не могу даже «чистосердечного в том раскаяния» принести. Ибо я никогда не заблуждался — нет, никогда! И потому даже не понимаю, что такое «заблуждение»! Ни «заблуждений», ни «истины», ни «превратных идей», ни «благонамеренных» [...] ¹²—ничего я не знаю — а, стало быть, могу только содействовать. Содействовать — вот моя специальность; ни делать, ни производить, а именно содействовать. И многие от этой специальности устраниются, бегут на теплые воды и там влачат с горем пополам культурное существование.

Не однажды меня интриговал вопрос, каким это образом вдруг, словно из земли, русский культурный человек вышел! Всё были густопсовы да чистопсовы — и вдруг культурными людьми сделались. Сидит себе чистопсовый человек или в Залупске, или в Ницце, за обе щеки уписывает, и говорит: теперь вы на мой счет легонько! я из тарелки ем, а не из ложки, я салфеткой утираюсь, а не стеклом, я культурный человек! И как только появился этот культурный человек, так рядом с ним явился и действительный статский советник Солитер. Не было культурных людей, не было и Солитера. Были действительные статские советники Довгочухны, Неуважа-Корытты, Ивановы, Федоровы, Семеновы, ели и пили, а в свободное от еды время писали: утверждаю, утверждаю, утверждаю. А Солитер пишет: раззоряю, раззоряю, раззоряю...

Не раз хотел я даже историю возникновения культурных людей написать. Подробно, по документам. Как они сначала до обморока были доводимы, и как потом, будучи постепенно привлекаемы к содействию, в чувство пришли. В какое чувство?

Вот на этом-то вопросе я и поперхнулся. Коли назвать это чувство — будет ли это своевременно, а ежели не назвать его — какой же смысл будет иметь мой исторический труд? Я знаю, что многие историки именно с тем и предпринимают свои труды, чтоб ничего из этого не выходило, кроме того, что великая княгиня Ольга Коростень сожгла, а великий князь Святослав сказал: не посралим земли русская! — но то историки серьезные, а я... какая же серьезность во мне?.. Я пишу, потому что меня культурная тоска одолела, тоска, тоска и тоска. Тоска, похожая на угрызения, словно я грехопадение какое совершил с тех пор как меня в культурные люди произвели.

С одной стороны, нет ни умения, ни быстроты в ногах, ни здоровья — и рад бы посодействовать, да взять нечем! С другой стороны — тоска, что-то неопределенное под сердцем сосет. Жюдик — видел, Шнейдершу — видел, у Елисеева и на Невском, и на бирже — был. Всё, что можно было в пределах культурности, кроме содействия, совершить, — всё совершил. Повторять то же самое надоело, а между тем надо жить. Ни смерть, ни болезнь ничто меня не берет. Встанешь утром — и какими-то испуган-

ными глазами глядишь в лицо грядущему дню. И завтра и послезавтра будут дни, а чем их наполнишь? Не сходить ли в Александринку, на Пронского посмотреть — может быть, хоть это потрясет. Или вот в Педагогическом обществе побывать, послушать как Водозовов реферат будет защищать? И вдруг окажется, что это отрава! И потом прокурор будет доказывать, что кто-нибудь из родственников меня нарочно отравил, чтобы потом наследством моим воспользоваться. И присяжные, обдумав зрело обстоятельства дела, скажут: да, виновен. Нет, слуга покорный! я родственников люблю и ответственности подвергать их не желаю...

Итак я дома и не знал, что делать с собой. Начал с севрюжины и конституции, кончил Пронским и Водозововым.

Глава 2-я

Дело было в половине апреля. Я смотрел из окошка на улицу и любовался на сумятицу, которая происходила в природе. Воздух был наполнен каким-то невообразимым мельканием; крупные, крупные снежинки, мокрые, разорванные, словно проливной дождь, тяжело ударяли в окна. На подоконниках уже образовалась порядочная груда белого вещества, рыхлого и тающего; мостовая, еще два часа тому назад серая, начинала белеть. По улице сновали извозчики пролетки с пассажирами, озлобленно скрючившимися под зонтиками. Ряд домов, мокрых, скользких, загадочно глядели своими бесчисленными черными окнами, словно тысячами потухших глаз. Небо давило и, несмотря на второй час дня, окутывало город ранними сумерками. Гул экипажей и мельканье лошадей, которые некоторое время раздавались усиленно (был первый день святой недели), постепенно начал стихать, стихать, и, наконец, совсем сделалось тихо. Даже ликующие столоначальники — и те, повидимому, успокоились.

Я стоял у окна и припоминал. Было время, когда и я в этот день лежал и метался; придешь в одно место, распишешься, швейцару целковый подаришь и, нисколько не медля, — в другое место, опять распишешься, опять целковый подаришь... Да в мундире, сударь, в мундире! А нынче вот сижу у окна да глазами хлопаю — на дворе праздник, а никуда глаза показать не хочется. Почему не хочется? — а потому просто, что незачем...

Прежде я потому ездил, что было у меня убеждение: здесь претерплю, зато в своем месте наверстаю. Я даже нарочно в Петербурге периодически появлялся, чтоб претерпеть и потом наверстать. Мерзок я был, низкопоклонен, податлив, но я знал, что у меня имеется стимул, движущий моими действиями. Впоследствии обстоятельства заставили меня сознать, что это был стимул фальшивый, несостоятельный, лишенный предусмотрительности — прекрасно! Я понял это и, может быть, даже вполне искренно отказался от тех идеалов наверстывания, которые обуравали меня в бывалое время. Но почему же я, оставив прежние стимулы, не усвоил себе новых? Для чего я живу? Для того ли только, чтобы представлять собою образчик русской культуры? — велика невидаль!

Я знаю теперь, что ездить я или не ездить, поздравлять или не поздравлять, все-таки я ничего не наверстаю, потому что и наверстать нигде. Хотя же действительный статский советник. Солитер и заставляет мелькать перед моими глазами какие-то виды, но, право, мне кажется, это он просто, ради блезиру, делает. Следуй, говорит, по моим указаниям, и будешь ты век сыт и век пьян — а куда следуй, этого он и сам растолковать не может. У самого-то, брат, у тебя яичница в голове, а тоже других приглашаешь!

Да если бы он и мог доподлинно разъяснить, куда и как нужно следовать—разве я могу туда идти? Да и не только туда—никуда я идти не могу. Всё, всё для меня заперто. По судебной части я могу только адвоката нанять, а сам истца от ответчика отличить не умею. Кто их знает!—там адвокат разберет! По части народного просвещения—я не знаю, кто кого кормил, волчица ли Ромула или Ромул волчицу—что ж я на экзаменах-то спрашивать буду? По части финансов я знаю одну систему: дери и в случае недобора бесстрашно занимай! а какие на какой бумаге ассигнации печаются—ничего этого я не знаю! Вот разве по части... ну, нет, Солитер, этому не бывать. Действительно, по этой части никаких познаний не требуется, только культурность одна, но я ведь не позабыл, что мой прадедушка регентшу Анну Леопольдовну в одной сорочке из опочивальни вынес!.. Нет, не позабыл! Ибо ежели я сам лично ничего не сделал, даже чистосердечного раскаянья не принес, то прадед мой...

И откуда нынче такие действительные статские советники развелись! И прежде были действительные статские советники, назывались Довгочкунами, Ивановыми, Федоровыми, Семеновыми, ели, пили, сами балы делали и откупщиков заставляли делать, ездили по гостям, играли в клубах в карты, а в свободное от занятий время писали: утверждаю, утверждаю, утверждаю. А Солитер пишет: разоряю, расточаю, развращаю!..

И ничего. Разоряет — и не созидает, расточает — и сам стоит невредим, развращает — и состоит членом общества распространения грамотности. Кто поймет эту тайну? Есть у него один ресурс, который выручает его. Ресурс этот — лганье и показывание фальшивых перспектив. Он лжет постоянно, лжет, как рязанский дворянин, когда начнет рассказывать, какие у него, при крепостном праве, персики в оранжереях родились. В этом случае недавняя чистопсовость вся целиком выступала у него наружу. Он лжет, и сам к своему лганью прислушивается, как соловей к собственному пению. И верит. Верит тому, что он, ехавши тройкой, в одну прорубь со всем экипажем провалился, и потом за двадцать верст в другую прорубь выскочил. Следуйте, говорит он, следуйте только моим указаниям, а в свое время мы — наверхтаем!

И многие до сих пор верят ему. Я убежден, например, что Прокоп даже в эту самую минуту мечется как угорелый по городу и всё поздравляет, всё поздравляет. Домой, думает, приеду — всё наверхтаю! И это он, в течение десяти лет, аккуратно из года в год так делает. Каждый год кукиш с маслом получает, и всё шибче да шибче поздравляет и надеется.

Уж целую неделю как я в газетах прочел, что он в Петербург приехал — и ко мне до сих пор ни ногой. Вместе Шнейдершу слушали, вместе в геогарфическом конгрессе заседали, вместе по политическому делу судились, наконец, вместе в сумасшедшем доме сидели — и вот! Чай, всё перспективы выглядывает, связи поддерживает, с швейцарами да с камердинерами разговаривает. Чай, когда из Залупска ехал, тоже хвастался: я, мол, в Петербург еду, об залупских культурных нуждах буду там разговаривать! Разговаривай, мой друг, разговаривай... с швейцарами!

Кому интересны залупские нужды, культурные или некультурные? Вот кабы ты сообщил секрет, как к празднику нечто заполучить, или как такому-то ножку, ради высокотожественного дня, подставить—ну, тогда мы бы тебя послушали! А то: Залупск — разве об нем кто-нибудь думает! Есть у вас там, в Залупске, Солитер и будет с вас. Он вас там разберет: и сравит друг с другом и помирят, если нужно. «Zaloupsk! qu'est ce que c'est — que Zaloupsk?»¹³

И вот, ради разговоров с швейцарами, Прокоп даже об старом соратнике и собутыльнике забыл! Это ли не черта русской культуры! Сегодня

приятель, завтра Солитер разрешит ему за свой превосходительный каблук подержаться — он уж и рыло воротит. Я, говорит, на верху нынче стою, сверху мне все перспективы виднее. Вы, мол, как лягушки, в болоте квакаете, а мы, аисты, на горах расселись, да как налетим оттоль... Да на кого же ты налетишь-то, птица ты бестолковая! Посмотри, и болото-то уж пустым-пустёхонько стоит: нечего скоро и зацепить-то там будет!

Мне сделалось досадно и жалко. Бедный Прокоп! Глуп-глуп, а культурность свою очень тонко понимает. У меня, говорит, в деревне и домик есть, и палисадничек при нем, и посуда, и серебро, и постелька для приятеля... видно, что человек живет! А мужик что! Вон у нас на селе у крестьянского мальчишки тараканы нос выели, а у меня, брат, тараканы только на кухне есть! Милый, милый Прокоп! Как сейчас вижу, как он в залупском клубе, за ужином, завязавшись салфеткой, сидит: буженины кусок проглотит и слово скажет, еще кусок проглотит и еще слово скажет. И слова всё — такие мелкие: текут, плывут, бегут — не поймаешь. Ест, а сам одним глазком в соседнюю залу заглядывает, потому что там действительный статский советник Солитер с статским советником Глистом о чем-то по секрету совещаются, а титулярный советник Трихина так и юлит, так и кружит около них. «Дай срок, уж от Трихины всё выведаю!» думает Прокоп, а что выведаю, зачем выведаю... бежит, течет, плывет!

И так мне вдруг захотелось Прокопа увидеть, так захотелось на затылок его полюбоваться, что не успел я формулировать моего желанья, как в дверях раздался звонок, и Прокоп собственной персоной предстал передо мной.

Он был в культурном мундире и в культурных белых штанах. Лицо его, слегка напоминавшее морду красивейшего из мопсов, выражало сильное утомление; щеки одрябли, под глазами образовались темные крути, живот колыхался, ноги тряслись. Мне показалось даже, что он раздражен.

— Обогрей, ради Христа! было его первое слово.

— Откуда, голубчик? поздравляя?

— Разумеется, поздравляя. Вот ты, так и день-то какой нынче, чай, позабыл?

— Ну, нет, брат, я и у заутрени был. А ты?

— Еще бы. Я еще третьего дня билет получил.

Прокоп сел против камина и протянул ноги чуть не в самый огонь.

— Да ты бы скинул с себя форму-то, предложил я: — вместе бы позавтракали, вина бы... А какое у меня вино... по случаю!.. краденое!

— Это, брат, только хвастаются, что краденое, а попробуй — опивки какие-нибудь! Опивки краденые — вот это так. А ты вот что: завтракать я не буду, а ежели велишь рюмку водки подать — спасибо скажу.

— Отчего же бы не позавтракать?

— Нет, я на минуту, у меня еще двадцать местов впереди. Поважнее которые дома — у всех расписался уж, а прочие и подождут, невелики бары!

Принесли водки и балыка. Прокоп потянулся, выпил и закусил. Не знаю почему ему вдруг показалось, что я всматриваюсь в него.

— Ты что на меня смотришь? узоры что ли на мне написаны? спросил он.

— Помилуй, мой друг, я рад тебя видеть — и только.

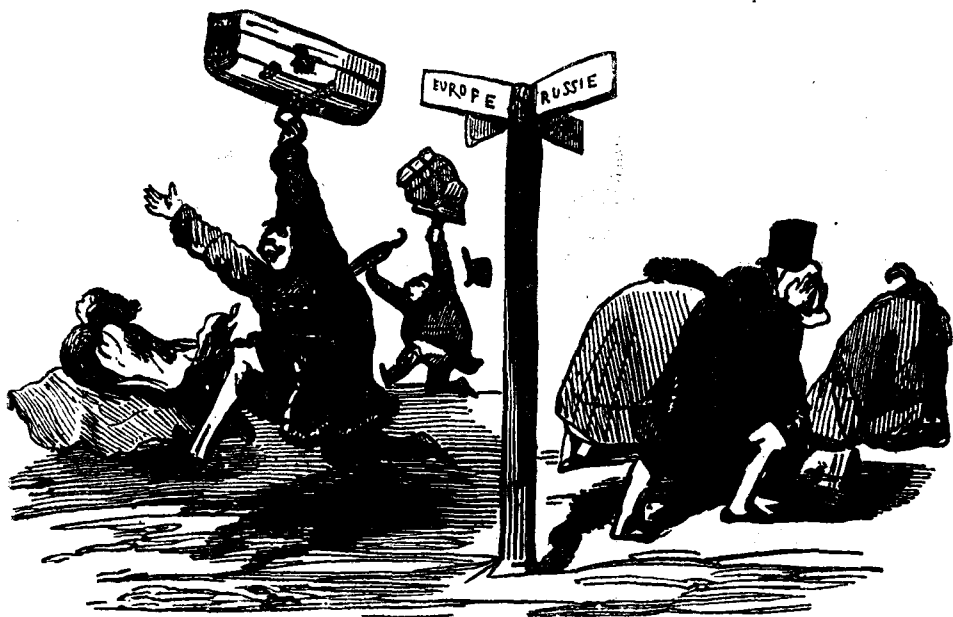
— А рад, так и слава богу. Замучился я. Погодища нынче — страсть! Ездил-ездил, штаны-то белые, замарать боишься — ну, и сидишь, как на выставке. Да как на грех еще приключение... препоганое, брат, со мной приключение сегодня было.

— Что же такое?

— Да приезжаю я к особе к одной — ну, расписался. Только вижу, что

тут же, в швейцарской, и камердинер особы стоит — и угрозами меня не-легкая с ним в разговор вступить. Рано ли, мол, встает его сиятельство? прогуливается ли? кто к нему первый с докладом является? не слышно ли, мол, что про места: может быть, где-нибудь что-нибудь подходящее открывается? Только разговариваем мы таким образом — и вдруг вижу я, вынимает он [из] кармана круглую-прекруглую табатерчицу, снял крышку да ко мне... Это, говорю, что?.. — Понюхайте-ко, говорит. — Да ты, гово-рю, свинья, позабыл, кажется?..

— Так и сказал?



РУССКИЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ НА ГРАНИЦЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

Карикатура из альбома Густава Дорэ «La Sainte Russie, Paris, 1854

— Так прямо и брякнул. Я ведь, брат, прямик! Я не люблю вокруг да около ходить! По мне коли свинья, так свинья!

— Нехорошо, брат; горяченек ты, любезный друг! с страстями справляться не умеешь!

— А что?

— А то, что он теперь тебе мстить будет — вот что!

Прокоп задумался на минуту, даже вилка, направленная по направлению к балыку, словно застыла в его руке.

— Я, брат, и сам уж об этом думал, — наконец молвил он.

— Непременно будет мстить. Вот сегодня же вечером будет с его сиятельства сапоги снимать и скажет: был давеча вот такой-то — не нравится он мне, невежей смотрит. А завтра ты явишься к его сиятельству, а его сиятельство посмотрит на тебя да и подумает: кто бишь это мне сказывал, что этот человек невежа?

— А что ты думаешь? ведь это, пожалуй, и вправду так будет?

— Верно, говорю. Эти камердинеры да истопники — самый это ехидный народ. Солитер-то, ты думаешь, как пролез?

— Ну, Солитер и так, сам собой пролезет!

— Нет, он сперва в камердинера пролез, а потом уж и...

— Ну, так прощай; я бегу!

— Погоди! куда ты! рассказал бы, по крайней мере, что у вас делается?

— Чему у нас делаться! Солитер... Я было жаловаться на него приехал, да вот приключение это — пожалуй, завтра и не выслушают!

Прокоп заторопился, подтянулся, вытянул ногу, на сапоги посмотрел, поправил шпагу и уж совсем на ходу заметил:

— Я, брат, с женой и дочерьми здесь. В Гранд-отеле стоим, за границу едем.

— Надежда Лаврентьевна¹⁴ здесь? и ты не говоришь ничего!

— Ну, что тут! не невидаль какая! Приходи уже вечером — посидим.

Он рысдой направился в переднюю, накиннул на себя шинель и вдруг опять встревожился.

— Как ты думаешь? спросил он меня: — ему... хаму этому... трех целковеньких довольно будет?

— Дай, брат, пять! — посоветовал я.

— Ладно. Так уже вечером. Жена давно к тебе посылает, да нельзя было... всё приключения эти...

Он исчез в дверях, а я остался опять один с своею тоскою. Я стал резюмировать [разговор]¹⁵, который мы сейчас вели, и вдруг покраснел. Что я такое сейчас говорил? мучительно спрашивал я себя, и какие такие советы насчет пяти рублей подавал? Господи! да неужели же это холопство имеет такую втягивающую силу! Вот я: повидимому, совсем было позабыл: и мундира культурного нет у меня, и поздравлять я не езжу — так, сам по себе, глазами хлопаю! — а увидел человека с красным околышем и не вытерпел! Так и лезет-то, так и прет из тебя это проклятое холопство! И рожа осклабляется, и язык петлей складывается, как начнут про швейцаров да про камердинеров разговаривать. Да; нынче в Франции целая школа беллетристов-психологов народилась — ништо им! У них психология простая, без хитростей — ври себе припеваючи! Нет, попробовал бы ты, господин Гонкур, сквозь этот психологический лес продраться, который у Прокопа в голове засел. Ему, по настоящему, и до самого его сиятельства горя мало, а он вот с лакеями об внутренней политике разговаривает да еще грубит им... лакеям-то! Да и я тут же за компанию вторю: отомстит он тебе; не три, а пять рубликов ему надо дать! Сказал и не почувствовал, что у меня от языка воняет, — ничего, точно всё в порядке вещей! Какое сцепление идей бывает, когда такие вещи говоришь? И какова должна быть психология, при помощи которой возможны подобные разговоры? Вот кабы ты, Золя, присутствовал при таких разговорах, то понял бы, что самое фантастически-психологическое лганье, такое, какое не снилось ни тебе, ни братьям Гонкурам, ни прокурорам, ни адвокатам, — должно встать в тупик перед этой психологической непроходимостью.

И в то самое время, как я думал всё это, вдруг, вследствие такого же необъяснимого психологического переворота, в голове моей блеснула мысль: Прокоп за границу едет, а что кабы с ним вместе удрать?

Сейчас обвинял Прокопа в халуйстве, сейчас на самого себя негодовал за то, что никак не могу с себя ярма холопства свергнуть — а через минуту опять туда же лезу. Я знаю, что Прокоп вместе с своей персоной весь Залупск Европе покажет, что он повезет Залупск в своих платьях, в покрое своего затылка и брюха, в тех речах, которыми он будет за табльдотами щеголять, во всем. И за всем тем, все-таки не могу я отвязаться от него, стремлюсь обонять залупские запахи, слушать залупские речи... И вместе со мной этим речам будут внимать Средиземное море и серые скалы, которые высятся вдоль его берегов, словно сторожат их в предведении нашествия варваров.

Глава 3-я

Для тех, которые позабыли о Прокопе, считаю не лишним восстановить здесь его физиономию. Это чистейший тип культурного русского человека, до последнего времени и не подозревавшего о своей культурности. В физическом отношении он шарообразен и построен как-то забавно: голова круглая, затылок круглый, брюхо круглое, даже плечи, руки, ноги — круглые, так что когда он находится в движении, то кажется, словно шар катится. Лицо у него — портрет красавца-мопса и принимает те же выражения, какие принимает морда мопса в различных обстоятельствах жизни. Когда он сыт, лицо принимает выражение беспечное, почти ласковое, как будто бы говорит: соснул бы теперь, да очень уже весело. И чувствуешь, что у него где-то должен быть хвост, которым он в это время виляет. Когда он голоден, то на лбу и на носу образуются складки, рот злобно оскабляется и углы губ плотоядно опускаются книзу. В нравственном отношении он лукав, не лишен юмора, преимущественно обращенного против него самого, лежковерен, льстив, наклонен к лганью и в высшей степени невежествен. Когда он говорит, то почти всегда поражает собеседника внезапностью мыслей, в которых нет возможности отличить правду от лжи. Некоторые полагают, будто бы он зол, но это положительно неверно. Он не добр и не зол, не умен и не глуп — он так, сам по себе. Репутацию злости составили ему его инстинкты, в которых действительно очень мало человеческого и которые иногда делают его способным опрызаться и рычать. Но ежели надеть на него хороший намордник, то он сейчас же притихнет, и в Залупске совершенно справедливо заметили, что с тех пор, как упразднено крепостное право, он стал огрызаться и рычать значительно меньше противу прежнего. Имя его совсем не Прокоп, а Александр Лаврентийч Лизоблюд — из тех Лизоблюдов, которые еще при царе Горохе тарелки лизали. Прокопом его называли на смех, в честь Прокопа Ляпунова, известного рязанского помещика и ревнителя русской славы, в то время, когда ему, после трех трехлетий, проведенных в звании представителя залупской культурности, поднесли на блюде белые шары в знак оставления в том же звании на четвертое трехлетие. Так как и Прокоп ревновал, и Лизоблюд ревновал, то и называли Лизоблюда Прокопом, да с тех пор словно даже и забыли настоящую его фамилию: все Прокоп да Прокоп.

Прокоп гордился своими предками. Не говоря уже о том Лизоблюде, который еще в доисторические времена тарелки лизал, много было Лизоблюдов, которые лизали тарелки и во времена позднейшие, освещенные светом истории. Проводя время в этом занятии, некоторые из них приобрели себе вотчины и до такой [степени] усилились, что когда вступил на престол Гришка Отрепьев, то Кирюшка Лизоблюд был послан в Астрахань для побуждения мятежных астраханцев к скорейшей присылке икры для царского стола. Но в половине XVIII столетия звезда Лизоблюдов померкла. Нижита Лизоблюд, имея наклонности пьяные и прожорливые, замешался в историю Лопухиной, и хотя сентенцией суда был приговорен к наказанию кнутом с урезанием языка и к ссылке на каторжные работы, но ради неистовой его глупости урезание языка и ссылка на каторгу были заменены ссылкой в залупские вотчины навечно. С этих пор и до наших времен фамилия Лизоблюдов делается исключительно рассадником залупской культурности и играет большую роль в той оппозиции, которую чистопсовские с такою твердостью выдерживали против местной администрации.

Семейство Прокопа состояло из жены, сына и двух дочерей уже на выданьи. Жена его слыла когда-то красавицей, да и теперь, когда ей было уже около сорока, она производила в Залупске сенсацию. Это была очень

добрая и до крайности жеманная женщина, как все русские провинциальные барыни, родившиеся в захолустьи и привыкшие с детства играть в нем роль. Во всех культурных подвигах Прокопа она приносила ему весьма существенную пользу. Никто не умел так ласково принять и так радушно накормить, как Надежда Лаврентьевна, ни у кого не подавалось таких роскошных обедов, и никто так красиво и строго не выступал в зале собрания во время балов. Даже губернатор называл ее [не] иначе, как царицей Залупска и во всех официальных торжествах выступал с ней в польском в первой паре. В особенности же видно выдавалась она во время выборов, когда со всей губернии съезжались в Залупск из деревень «песнь голы», как называл их Прокоп. В то время, как муж политиканил со старцами, то-есть накачивал и набивал им мамоны, а некоторым даже шил на свой счет по паре платья, Надежда Лаврентьевна делалась центром, около которого собиралась молодежь. В этих кружках бывало всегда весело — тут присутствовали все представительницы залупского высшего общества, сытые, белые, полные, с сахарными плечами, охотницы и сами поврать и послушать, как другие врут; тут велся прятный и щекочущий разговор, бесцеремонно бивший на возбуждение чувственности. В результате — поднесение на блюде белых шаров, которые Прокоп принимал со слезами на глазах.

Не менее полезна была мужу Надежда Лаврентьевна и в сношениях с залупскою администрацией. Прокоп был груб и не раз ставил администрацию втупик своею бесцеремонностью, хотя после и приносил в том чисто-сердечное раскаянье. Однажды администрация даже не на шутку рассердилась, и уверяли, что было уже произнесено слово: фюить! Прокоп малодушествовал и плакал, но прощения не просил. Этот загадочный малый желал бы, чтоб администрация, по секрету, видела его слезы и убедилась в его раскаянии и чтоб прощение пришло само собой. Но никто слез не видел и слово «фюить» было сказано вторично. Тогда на выручку явилась Надежда Лаврентьевна, и в первый раз, как «хозяин губернии» подал ей в польском руку, она так томно вздохнула и так трепетно держала его руку, что он невольно спросил ее: а ручку поцеловать можно, ежели я к вам завтра утром приеду? — и сейчас после того сам подошел к Прокопу и заговорил с ним, как ни в чем ни бывало.

Единственный сын Прокопа Гаврюша похож на отца до смешного. То же круглое брюхо, те же круглые плечи, то же мопсичье лицо, забавное во время покоя и со складками на носу и на лбу во время гнева. Прокоп любит его всем нутром своим, ласково рычит во время появления его в воскресенье и праздничные дни, сам садится, а его ставит перед собой, берет за руки, расспрашивает, чем его во время недели кормили, смотрится в него словно в зеркало. Воспитывается Гаврюша в лицее прежде всего на том основании, что оттуда титулярными советниками выпускают, а еще больше потому, что в закрытом заведении, хочешь не хочешь, а в конце концов все-таки «человеком» сделаешься.

— По себе, брат, знаю, что дома ученье плохое, открывался мне по этому случаю Прокоп: — чего уж покойный папенька со мной ни делал — и сек, и голодом держал, и в темную сажал — не могу никуда экзамена выдержать да и полно. До сих пор ни одного текста из катехизиса не знаю — что хорошего?

— Да ведь на собраниях из катехизиса не спрашивают, возражал я.

— Все-таки. Разговоры бывают. Не из катехизиса, так из географии. Кабы я экзамены-то выдерживал, я бы из географии разговаривал, а теперь только на других смотришь, смеются или нет.

— Так что ж! сходило до сих пор и слава богу.

— Ну, брат, не всегда. Ехидные ныне люди пошли: испытывают. Иной, братец, целый разговор с тобой ведет — ты думаешь вправду, а он на смех.

— И все-таки дай бог всякому таким «человеком» быть, каким ты сделался.

— Да уж это я после человеком сделался, когда папенька за ум взялся да определил меня в полк. Надели на молодца солдатскую шинель да стали на корде гонять — ну, и сделался человеком.

— Так и с Гаврюшей ты так поступи.

— Нельзя, голубчик, не тем нынче пахнет. Нынче над юнкерами-то смеются. А в заведении в этом... а вдруг, братец ты мой, Гаврила Александрович мой министром будет!

Прокоп захохотал, но тем загадочным смехом, из которого нельзя понять, точно ли человек смеется, или только в заблуждение вводит.

— Так вот я и решился. Только бы он у меня экзамен выдержал, а там уж я буду покоен. Туда только поступить нужно, а там уж доведут. Разве вот человека зарежет...

— Что ты! Христос с тобою!

— То-то, об этом-то я и говорю. А ты, впрочем, что об этом думаешь? Я, брат, маленький тоже чуть-чуть человека не зарезал — да! Раз, после грамматики, секли меня секли — ну, думаю: непременно я этого проклятого учителя зарежу!

— Так неужто же ты так-таки и зарезал?

— Эх, братец, чудака ты! Я сказал для примера, а он и поверил!

И действительно, Гаврюша третий год находился в заведении — и ничего. Жаловались воспитатели, что он во время репетиций забирается в шинельную и спит там, вследствие чего потом уроков отвечать не может, но Прокоп и не требовал от сына блеска, а просил только бога, чтоб как-нибудь его до конца довел.

Дочери у Прокопа были уже невесты: одна, Наташенька, восемнадцати лет, другая, Леночка — семнадцати. Обе пошли в мать и наружностью, и жеманством, и склонностью к лакомству. Наташенька склоняла голову на правую сторону, Леночка на левую, что сообщало им какую-то трогательную грацию. Обе ходили в одинаковых платьицах, обе подавали посетителю ручку как-то нехотя, словно вынужденные обстоятельствами, и обе ходили, слегка привскакивая на носках. Вообще были девушки здоровые, полные и аппетитные, но они как бы совестились за свою аппетитность и от всей души просили бога о ниспослании им худобы¹⁶.

Вечером, когда я пришел к Прокопу, у него уже сидел какой-то генерал, но до такой степени унылый, что я подумал, что у него или жена сегодня скончалась или болит живот. Он имел такой странный вид, словно его пеплом обсыпали. Лицо пепельного цвета, волосы пепельного цвета, даже мундирный сюртук не чищенный, словно кусочки пепла на нем. Прокоп рекомендовал его мне:

— А вот его превосходительство Николай Батистыч Пупон! Русский! Отец его, Батист Северьяныч — тоже генерал был, только француз, вместе с русскими Париж в восемьсот 14 году брал, ну, а этот уж настоящий русский, наш залупский дворянин.

Надежда Лаврентьевна приняла меня любезно и позволила даже ручку поцеловать. Наташенька и Леночка любезно поклонились, каждая с своей стороны. Гаврюша сидел в углу, держа в обеих руках по яйцу и пробуя, которое крепче.

— Обделал! шепнул мне на ухо Прокоп: — десятирублевенькую дал!

— Что ж! куда же?

— Нет, говорит, теперь местов нет, а впоследствии... Будут, говорит, скоро два места, да уж их обещали! А потом, говорит...

— Да не врет ли?

— Верно, братец! После этих двух мест — первое...

— Ну, и слава богу. Покуда ты за границу съездишь, покуда что — смотришь оно и откроется!

Сели в кружок и стали разговаривать. Разумеется, сначала на погоду пожаловались и выразили мнение, что никогда такой скверной святой не бывало. Потом пошли новости из Залупска, странные новости, в которых главную роль играли плюхи.

— У нас, брат, нынче все разговоры плюхами кончаются! весело резюмировал Прокоп рассказы Надежды Лаврентьевны.

Подали, наконец, самовар и целую кучу булок и кренделей. Гаврюша, все упорствовавший сидеть в углу, при виде самовара оживился и стал помаленьку пододвигаться к столу. Прокоп толкнул меня локтем в бок и подмигнул в его сторону. Маневр сына, очевидно, радовал его.

— Что, брат, видно булками запахло? пошутил Прокоп и потом, обращаясь ко мне, прибавил: — вот, брат, хочу тебе на сына жаловаться — урока не знал.

— Ах, мой друг, охота тебе ребенка конфузить! — вступилась Надежда Лаврентьевна: — тебе, Гаврюша, с чем: со сливками или с вареньем?

— Мне, маменька, сливок побольше.

— Ешь, братец, ешь. От еды здоров человек бывает, только одна еда тоже не годится: еда сама по себе, а урок сам по себе.

Гаврюша тряхнул головой, словно муху смахнуть хотел.

— Поди ко мне! Говори: отчего ты урока не знал?

Прокоп притянул Гаврюшу к себе, поставил против колен и всем своим лицом смотрел на него. Очевидно, что в эту минуту он не променял бы никакого Ньютона на своего незнающего урока Гаврюшу.

— Отчего ты урока не знал?

Гаврюша вдруг фыркнул.

— Стыдно, братец! А я давеча еще говорил: министром у меня Гаврюшка будет! Ну, теперь ешь.

— А вы что ж, ваше превосходительство, обратился Прокоп к генералу: — хлеба бы да с маслицем.

— Да, да, маслица, молочка, яичек... это можно! Надежда Лаврентьевна! Маслица бы, маслица мне! как-то жалобно попросил генерал, и затем, сложив руки между колен, оглядывал всех безнадежным взором.

— Вот и генерал с нами за границу едет, сообщил мне Прокоп.

— Да вы серьезно едете? спросил я Надежду Лаврентьевну.

— Едем. Надо же...

— Я раз шесть за границей был, а оне еще ни разу, объяснил Прокоп. — Пускай поездят да посмотрят. Нельзя же...

— А вы, генерал, для здоровья?

— Нет, я здоров, даже совсем здоров. Вот только грусть у меня... Никто объяснить не может. Воды какие-нибудь, может быть...

— Генерал еще в кадетском корпусе мозгу сотрясение получил, с обычной бестактностью влепил Прокоп: — с тех пор вот и не может...

— Не могу! и рад бы да не могу. Даже в цирк не езжу, потому что из пистолетов стрелять стали. Хотел было по дипломатической части идти — папаша не позволил. Папаша у меня храбрый был, у Марии-Антуанетты ручку целовал. А теперь вот мы русские.

— Однако дослужились же вót генерала? не мог я воздержаться от вопроса: до такой степени сильно было мое недоумение.

— Да по кавалерии... кажется я по кавалерии нахожусь?

— Нет, в ученом комитете заседаете, сострил Гаврюша, и тут же сам фыркнул своей остроте.

— С генералом, брат, такие приключения были—и не дай бог! расскажите-ка, ваше превосходительство!

— Нет, мой друг, нет! Я вот еще немножко маслица да и домой... бай-бай пора! в другой раз!

— Ах, генерал, генерал! Женился бы ты, друг, и всю бы эту робость с тебя как рукой сняло! А у меня кстати и невесты есть — выбирай!

Генерал раскраснелся, молодые девицы строго взглянули на отца и гордо выпрямились. Даже Надежда Лаврентьевна словно растерялась.

— Чего на меня глазами уставились?—продолжал хладнокровно Прокоп: — разве не правду я говорю? Чем не невесты! Генерал, смотри! — пышечки!..

Все как-то оторопели, один Гаврюша так фыркнул, что брызги летели с блюбочка во все стороны. Вероятно, собственно для утешения Гаврюши Прокоп и завел этот разговор. Генерал заторопился и стал прощаться.

— Куда, брат? испугался? Небось, силóm под венец не поведем! разувая его Прокоп:—я только так говорю: невесты мол есть — первый сорт.

— Alexandre! финиссе! строго заметила Надежда Лаврентьевна.

— Ну-ну, ступай, генерал Пупон! Спи там. Постель-то у тебя узкая да холодная... или, может быть, мамзель....

— Александр! тебя просто слушать нельзя! сказала Надежда Лаврентьевна с гневом, но так, что глаза ее так и искрились от удовольствия.

— Ступай, ступай, жених! так через десять дней едем! говорил Прокоп, провожая генерала в коридор и тотчас же возвращаясь назад.

— Бог знает, что ты говоришь! укоряла его Надежда Лаврентьевна.

— Что же я сказал! сказал, что дочки у меня невесты — это всякий видит. Что они пышки — и это всякому видно! А другой, может, и видит да не смекает — ему наука: никакой, братец! Вот хоть бы он! может жениться захочет — чем не пара! указал он на меня и в то же время перемигнулся с Гаврюшей, так что он опять фыркнул.

— А, впрочем, будет! Пошутили, Гаврило Александрыч, крошечку,—и будет! Довольно, мой друг! родите[льница] пнеться будет. А я тебе про этого генерала когда-нибудь расскажу! обратился он ко мне.

— Знаете ли что? не поехать ли и мне с вами?

— А чего ж лучше! и прекрасно! С нами, брат, весело будет. Да ты уж бывал?

— Нет, не был. И даже намерения не имел. Да вот сегодня, пришел ты, говоришь: еду — ну и я задумался. Надо же... в самом деле!

— Разумеется, надо. Только уж ты, брат, коли едешь, так меня держись. Я эту «заграницу» как свои пять пальцев знаю, знаю, где что спросить, где как поест, где гривенничек сунуть. Я как приеду в гостиницу — сейчас на кухню и повару полтинник в руки. Всё покажет. Да я уж тебя научу.

— И так это приятно будет! отозвалась Надежда Лаврентьевна: — все вместе и останавливаться будем! за границей — и всё равно, как у себя дома. Не правда ли, генерал?

— Не знаю... я ванны брать буду!

— Не всё же в ванне будешь сидеть. Чай и поест захочешь! засмеялся Прокоп.

— Нет уж, я уж...

— Уныние ты на всех будешь наводить—вот это верно. Ах, генерал, генерал! Храбрый ты какой был, сражение на Средней Подъяческой выиграл—и вдруг, что с тобой сделалось!

— Таковы плоды человеческой ненасытности!

Генерал сказал это таким безнадежным тоном, что все вдруг смолкли. Даже я, ничего не понимая, вздохнул. Этот унылый вид, это пепельное лицо, очевидно, скрывали какую-то тайну. Кто знает? Может быть, он ждал в этот день награды и не получил ее?

— Больно? первый прервал молчание Прокоп, обращаясь к генералу.

Но генерал даже не ответил на этот вопрос. К величайшему моему удивлению и к смущению девиц, которые в одно мгновение куда-то скрылись, он вскочил с места и начал расстегивать свой форменный куртку. Потом расстегнул жилет, рубашку и обнажил довольно волосатую грудь.

— Смотрите, молодой человек, и да будет это вам уроком! обратился он ко мне, неизвестно почему считая меня за молодого человека:—читайте! вон здесь, пониже левого соска,—что вы видите?

Я приблизился и действительно увидел нечто в высшей степени странное. В нижней части груди, в том самом месте, на которое сейчас указал генерал, замечалось четвероугольное пространство, усеянное беловатыми пупырышками вроде сыпи. Но когда генерал ударил по этому месту двумя пальцами, то пупырышки мгновенно покраснели, и я мог прочесть следующее:

К СЕМУ Телу АГГЕЛ
САТАНЫ, ИВАН ИВАНОВ,
ДОВОДНОЙ, ЗА БЕЗГРАМОТНОСТЬЮ,
ПЕЧАТЬ ПРИЛОЖИЛ.
АНАФЕМА!

— Теперь вы знаете роковую тайну моего горького существования! произнес генерал, покуда я, вне себя от изумления, смотрел на него:—покуда я был субалтерн- и штаб-офицером, все знали отважного Пупона, все приглашали и чествовали его, отовсюду слали ему телеграммы, во всех трактирах пили его здоровье, даже историк Соловьев, задумывая сороковой том своей истории России, чуть не упал от радости в обморок, когда я доставил ему докладную записку под названием «К истории смутного времени». Теперь я генерал—и всё вдруг изменилось. Пупон забыт, Пупон отвержен, Пупон отчислен по кавалерии, а, в довершение всего, я получил сегодня от господина Соловьева свою записку обратно с надписью: «невозможно, чтобы человек, в здравом уме находящийся, мог совершить столь великое множество дел, коим даже не весьма стыдливая Клио—и та не решается верить». Скажите, как по вашему мнению: обидно это или не обидно?

— Да, конечно... Уж если даже Клио зарумянилась, так должно быть порядочно-таки вы в этой записке накуралесили. Но, извините меня, генерал, меня так заинтересовала надпись, сделанная у вас на груди, что если бы вы были так любезны, объяснили ее происхождение, то я счел бы это величайшим для себя одолжением.

— Увы! это была одна из тех роковых ошибок молодости, которые нередко окутывают всю остальную жизнь человека. Вот он (генерал указал на Прокопа) знает эту грустную историю—когда-нибудь он и расскажет вам ее.

— Ну, нет, я рассказывать не мастер, да и некогда мне, отказался Прокоп:—а рассказывай-ка ты сам. Нужды нет, что мы знаем твою историю,—мы и в другой раз прослушаем,—всё лучше чем так-то сидеть. А он вот узнает!

— Хорошо. Я расскажу всё по-совести, как было, сказал генерал:—но

беру бога в свидетели, что делаю это не ради удовлетворения пустому тщеславию, но единственно в виду того, чтоб молодые люди, склонные к мечтательности и к благородным подвигам, знали, что даже в области пресечения и предупреждения мечтательность не всегда ведет к той цели, которую они себе предназначали.

Мы все собрались вокруг генерала и приготовились слушать.

Генерал начал:

17

Глава 4-я

Поехали.

Через неделю, в одиннадцать часов утра, я был уже на дебаркадере варшавской железной дороги. Прокоп был тоже исправен, и в ту минуту, как я подъехал к станции, он уже распоряжался с багажом. Я насчитал до двенадцати сундуков, да кроме того, у него в каждой руке было по чемодану, которые он, вероятно, надеялся провезти бесплатно.

Серая погода преследовала нас, и перед станцией стояло целое море грязи. Неподалеку виднелся закопченный остов фейгинской мельницы, около которой шныряло стадо адвокатов. Казалось, он еще дымился, и дух Овсянникова парил над ним. Прокоп, поздоровавшись со мной, мигнул мне по направлению к зданию мельницы.

— Из-за полтинника какую кашу заварил, по обыкновению изумил он внезапностью мысли.

— Как так из-за полтинника?

— Известно из-за полтинника. На низу помол дешевле на копейку — вот он и того... А мельница-то застрахована...

— Ну, нет, это кажется, ты уж чересчур хватил. Миллионер да будет об таких пустяках думать!

— А ты душу человеческую знаешь?

— Нет, но во всяком случае...

— А я знаю. У нас в Залупске миллионер Голопузов живет, так извожик у него пятиалтынный просит, а он ему гривенник дает. И разговаривает, и усовещевает: креста, говорит, на тебе нет. И так пешком до места и дойдет. Так вот оно, что душа-то человеческая значит.

В эту минуту целая масса людей из всех отверстий мельницы высыпала к наружному ее фасу со стороны Обводного канала.

— Ишь! ишь! адвокатов-то что собралось! произнес Прокоп: — это они слям' делают!

— Какой еще слям?

— Такой и слям, что один какой-нибудь возьмет себе всю тушу, примерно хоть за сто тысяч, — пятьдесят тысяч ему, а другие пятьдесят — на драку!

— Скажи по-совести! ведь ты это только сейчас выдумал?

— А если и выдумал — важность какая! Не в том штука, что выдумал, а в том, что правильно выдумал. Смотри-ка! смотри-ка! остановились! глядят! Ах, чтоб им пусто было! Иш—ишь! Белый к стене подошел, штукатурки отколушнул — это у него «совершенное» доказательство будет!

Поезд был невелик, и нам отвели роскошный вагон, в котором, кроме отдельных купе, был еще прекрасный салон. Нас никто не провожал, — нынче как-то и провожать культурных людей ни для кого не интересно, только около Прокопа терся какой-то маленький человечек, да и тот большею частью или молчал, или, по первому манию Прокопа, мгновенно исчезал в пространстве и снова, как метеор, появлялся.

— Кто это тебя провожает? полюбопытствовал я.

— А чиновник один... из духовной консистории.

— Как он к тебе попал?

— А так... может, нужен будет.

Кроме Прокопа с семейством, меня и генерала Пупона, было еще пятеро пассажиров: молодой тайный советник, который ожидал к празднику Белого Орла, а вместо того в другой раз получил корону на святых Анны и в знак неудовольствия отправлялся вояжировать; адвокат, который тоже был обижен тем, что не был приглашен по овсянниковскому делу ни для судебного разбирательства, ни даже на побегушки; старичок с Владимиром на шее (до Эйдкунена), который, повидимому, ехал за границу лечиться; молодой литератор; пятый персонаж, смотрел как-то таинственно; он был одет в восточный костюм вроде халата, а на голове у него была надета ермолка. Войдя в вагон, он занял место в противоположном углу и молча глядел в окошко в противоположную дебаркадеру сторону.

Прокоп, по обыкновению, всем интересовался и приставал ко мне с вопросами: это кто? При этом он, по привычке всех провинциалов, указывал пальцем и делал свои замечания так громко, что я каждую минуту трепетал, что он меня скомпрометирует. Прежде всего он заинтересовался адвокатом, уверял меня, что видел его, долго припоминал где и наконец-таки вспомнил, что в Муромском лесу.

— Насилу, брат, мы от него удрали! присовокупил он в виде заключения.

Но больше всего заинтересовал его восточный человек. Он долго вглядывался в него, бормоча про себя: убей меня бог, ежели я его не видал! И наконец-таки вспомнил.

— А ведь это от Огюста татарин! сказал он: — он! именно он! Я, брат, его знаю! Я и в костюме их видал. В ноябре они к своему причастию ходят, так этим же манером наряжаются!

И не дожидаясь моего ответа, обратился к восточному человеку.

— Здравствуй, саламалика! ты как сюда в первый класс попал!

Восточный человек изумленно посмотрел на нахала и чистейшим русским языком отвечал:

— Проваливай мимо.

Наконец, поезд пошатнулся и тронулся. Всякий по-своему выразил при этом чувство, одушевлявшее его в эту минуту. Прокоп снял картуз и, перекрестившись большим крестом, громко произнес: с богом! старичок с Владимиром на шее тоже перекрестился, но как-то робко, словно это не входило в круг его прямых обязанностей. Пупон хотел последовать их примеру, но печать антихристовая не давала ему. Несколько раз усиливался он сотворить крестное знамение, но, вероятно, «отец лжи» зорко следил за его движениями, потому что, после нескольких попыток, рука его бессильно опустилась вниз. Восточный человек, очевидно, хотел совершить омовение, но, за невозможностью, сотворил брение и помазал им себе волосы. Адвокат долго следил унылым взором за исчезающей в тумане мельницей. Наконец, вынул фотографическую карточку Овсянникова и впилился в нее глазами, словно заранее оплакивая невинное его осуждение. Литератор, как только тронулся поезд, вынул из кармана газету и уткнулся в нее. Молодой тайный советник открыл окно и долго махал платком, прощаясь с провожавшими его столоначальниками. Наконец, когда поезд уже въехал в самое царство болот, сел и горько улыбнулся, словно укоряя отечество в неблагодарности. Я уверен, что он воображал себя в эту минуту Кориоланом, но более великодушный, чем Кориолан, он не намеревался привести вольсков для отмщения нанесенной ему обиды.

Мне было не по себе. По мере того, как поезд прибавлял ходу, мне казалось, что внутри у меня всё больше и больше пустеет. Теперь впервые мне с особенной резкостью представился вопрос: зачем я еду? и впервые же шевельнулось какое-то смутное сознание, что я что-то за собой оставляю. Я — человек привычки, и всякое передвижение меня волнует, так что когда я переезжаю на лето из Петербурга в деревню, меня всегда беспокоит вопрос: что-то будет? и такой же вопрос беспокоит и в то время, когда я на зиму переезжаю назад в Петербург. Теперь этот вопрос беспокоил меня, так сказать, сугубо. Собственно говоря, я оставлял за собой очень мало: смутную тоску о чем-то и смутное желание чего-то, но в самой этой смутности было что-то привлекательное. Как будто проснулся и ходишь в халате, и не хочется ни умываться, ни одеваться, ни даже кичкою притронуться: всё бы ходил взад и вперед да думал. Об чем думал? — право, сто против одного можно пари держать, что никто даже сколько-нибудь ясного ответа на этот вопрос не может дать. Так что-то мелькает и исчезает, и опять мелькает, и опять исчезает. То мотив какой-нибудь раздастся и смолкнет, то вдруг образ какой-то осветится и потухнет. Ходишь-ходишь и усталости даже не замечаешь. Хорошо ли предаваться этой неумывающейся мечтательности — это вопрос другой, но, мне кажется, она представляет собой элемент современной русской жизни. Без ясных сожалений в прошлом и без ясных желаний в будущем. И ко всему этому прибавьте оторопь. Русский человек двигается нехотя, словно боится, что вот-вот нечто разверзнется и поглотит его. Как будто на каждом шагу его ждут сюрпризы, которые перевернут вверх дном его жизнь. Эту же робость, это же недоверчивое ступание по суку, яко по морю, приносит он с собою и повсюду, даже туда, где уже никаких сюрпризов не полагается. Всё ему кажется, что или кондуктор его обидит, или засудят его, или вдруг... фюить!

Вот я, например. Правда, я не был за границей, но весь склад моей жизни, всё воспитание, все идеалы — всё было заграничное. Я и парле-франсе умею, и Наполеона III обругать могу, и об Бисмарке два-три анекдота знаю и даже некоторые обычаи знаю. Один знакомый мне сказал: там за табль-дотом семь блюд подают! другой сказал: если вы в Париже будете в ресторане что-нибудь спрашивать, то не говорите: *je vous prie*, а *s'il vous plait*, потому что вас сейчас за русского примут. Стало быть, куда бы я ни приехал, везде, как у себя дома буду. И за всем тем — все-таки берет оторопь. Вот теперь Эйджунен через сутки, а всё кажется: пройдет ли? Точно к родителям из школы едешь и за неделю дурную отметку на билете несешь. Каковы-то кондуктора там? Обходительны ли извошки? не строги ли содержатели отелей? Вот Прокоп говорит, что там на этот счет строго, в известный час обедать иди, в известный час восхождение на Риги делай — всё равно как арестант. Как я за табль-дотом обедать буду? Я привык дома на просторе есть, а тут вдруг поднимешь глаза, а они в немца упрутся. Вдруг он обидится и предложит мне за погибель Франции пить? А я Францию люблю! да, я люблю тебя, Франция, люблю, несмотря на то, что ты в настоящую минуту не Франция, а Макмагония. Буду ли я с немцем пить!

Буду ли я вообще все те мерзости проделывать, которые проделывают русские люди, шлющиеся на теплых водах! Буду ли я уверять, что мы, русские, — свиньи, что правительство у нас революционное, что молодежь наша не признает ни авторитетов, ни собственности, ни семейства и что вообще порядочному человеку в России нельзя дышать?

Буду ли говорить? — вот странный вопрос! разве я знаю, что я буду говорить? разве я могу определить заранее, что я скажу, когда разговорюсь? Вот если бы я один обедал, разумеется я бы молчал, да и тогда,

может быть, не утерпел бы сказать [...] ¹⁸, что все русские — свиньи, а то за табль-дотом—помилуйте! Сто немцев смотрят на тебя, и все как будто говорят: а это ведь русский! Как тут утерпеть! как тут не сказать: господа! не смотрите, что я русский. Я действительно русский, но очень хорошо понимаю, что русские—свиньи!

Покуда эти мысли толпились у меня в голове, Прокоп делал свое дело. Он расхаживал по вагону, приискивая случая завести знакомство с пассажирами. Долгое время он посматривал на восточного человека, который, псевдимоу, в особенности его интриговал, но заговорить с ним, однако, не решился, а подсел к адвокату, и между ними произошел следующий разговор:

— Вы адвокат, кажется? начал Прокоп.

— Имею честь быть таковым! ответил адвокат.

— Фамилия ваша?

— Проворный, Алексей Андреич.

— Как будто мы с вами встречались?

— Очень может быть.

— В Муромском лесу будто. Я в саратовскую деревню, помнится, ехал.

Проворный недоумевающими глазами взглянул на него.

— Как ее, станция-то? Булатниково, что ли? Еще там ваш, для приготовления адвокатов, кадетский корпус был? не смущаясь продолжал Прокоп: — ну, да, впрочем, что тут! ведь вы тамошние места бросили?

— Извините.... тут есть какое-то недоразумение... Муромский лес... Булатниково... Я даже никогда не бывал в тех местах...



«НЕСОМНЕННО, ЧТО РОССИЯ ПОЛУЧИТ КОНСТИТУЦИЮ, СООТВЕТСТВУЮЩУЮ РУССКИМ УСЛОВИЯМ ЖИЗНИ»

Карикатура на русские реформы 60-х годов из журнала «Kladeradatsch» 1863 г., № 43

— И хорошо сделали, что бросили. Там нынче проезжих мало: все на нижегородку бросались. В Петербурге лучше. Нынче в Петербург, на Литейную, Муромские леса переведены. Овсянниковское дело знаете?

— Был приглашаем-с.

— То-то. Я и сам давеча на вас смотрю и думаю: как этакого не пригласить! По этому делу, значит, и за границу едете?

— Нет, я сам по себе. Я в этом деле не участвую.

— В цене что ли не сошлись?

— В условиях-с.

— Да, бишь. Прежде спрашивали: какая ваша цена будет? а нынче: какие ваши условия?.. Благородно! А как по вашему мнению — поджог он мельницу-то?

— Это зависит-с.

— То-есть, как же это — зависит?

— От взгляда зависит. Как посмотреть на дело. С одной точки зрения посмотреть — выйдет поджог, с другой — выйдет случайность.

— То-есть и нашим, и вашим. Ну, а по настоящему-то, по правде-то как?

— По моему мнению, истина есть плод судоговорения.

— Чай поджог-то до судоговорения был!

— Был пожар-с, но что было причиной его: поджог или неосторожность, или действие стихий — это тайна судоговорения-с.

— Стало быть, можно по судоговорению что хочешь доказать?

— Можно-с.

— У меня, например, в Саратовской губернии имение есть — можно доказать, что оно не мое?

— Ежели есть противная сторона — можно-с.

— Вот так судоговорение!

Прокоп испуганными глазами взглянул кругом, как бы ища, нет ли между присутствующими «противной стороны». И действительно, молодой тайный советник, до сих пор относившийся к разговору с молчаливой иронией, счел долгом и свое мнение высказать.

— По моему мнению, господа, сказал он: — ваш спор сводится к следующему вопросу: что должен преследовать суд: осязаемую ли правду, ту, которая представляется уму в виде непререкаемого факта, или правду юридическую, которая представляется уму не непосредственно, но вооруженная указами и доказательствами? Так, кажется?

— Совершенно так, согласился адвокат.

Прокоп взглянул в мою сторону, как бы не зная, согласиться ему или нет. Я поспешил кивнуть головой.

— Мне что ж! сказал он: — то мне, пожалуй.

Меня самого этот вопрос занимал не мало, ибо как начальник отдельной части, я сталкивался с ним почти на каждом шагу.

..... 19

Глава 5-я.

Продолжаем ехать.

В Луге, по дороге к вокзалу, Стрекоза подхватил меня под руку и сказал.

— Мы, кажется, с вами знакомы?

— Кажется, ответил я.

— Мы с вами пошли разными дорогами, но, надеюсь, что это нисколько не должно мешать нам взаимно уважать друг друга.

Он сжал своим левым локтем мой правый локоть, а правой рукой пожал мою левую руку.

— С большим удовольствием, отвечал я.

Стрекоза слегка прищурился и взглянул на меня.

— Вы, кажется, это в ироническом смысле изволите?

— Нет, я без всякого смысла, а так...

— Жаль, очень жаль.

Не покидая моей руки, он засвистал какой-то мотив и таким образом до самого вокзала мы шли рядом.

— Вы мои последние распоряжения читали? возобновил он разговор.

— Нет, не читал.

— Не интересуетесь?

— Сами по себе они, вероятно, интересны, но для меня — нет.

— Вот если бы вы читали, вы должны были бы сознаться, что были неправы.

— В чем неправ?

— В том, что имеете на меня совершенно неверный взгляд.

— Да помилуйте! как будто вам мой взгляд нужен!

— И даже очень. Вы, может быть, забыли, но я очень очень многое помню.

И он пожал мне локоть. Неприятно мне это было, а, впрочем, с другой стороны, — что же! пожалуй, жми!

— Как хорошо было двадцать лет тому назад! воскликнул он и даже рот на мгновение полуоткрыл, как бы вдыхая нивесь какой аромат.

Я не ответил, он еще крепче пожал мою руку — что ж, жми, братец, жми.

— Вы были тогда неправы относительно меня — мы об этом когда-нибудь по душе с вами поговорим. Вы куда едете?

Я назвал ему несколько пунктов.

— Это приблизительно и мой маршрут. Скажите, что это за чудак, который вас сопровождает?

Я назвал.

— Так эти дамы — его жена и дочь?

Стрекоза надел на глаза пенсне и, сжав губы, внимательно осмотрел дам, которые в это время кушали дышленка, словно играя им.

— Интересные особы, сказал он: — а можно с ними познакомиться?

— Познакомьтесь.

В эту минуту я увидел, что Прокоп, совсем запыхавшись, бежит к нам.

— Ну, что! не говорил я? не правда моя? крикнул он еще издали, махая руками.

И подбежавши, торжественно объявил.

— Науматуллу видел.

— Да ты, по крайней мере, говори толком, сказал я, едва воздерживаясь от раздражения.

— Из Бель-Вю Науматуллу; он тоже с нами за границу едет, вот с этим, с нашим... ну, который у нас в вагоне сидит.

— Да мне-то, наконец, что за дело до всего этого?

— Как что за дело! ведь я от Науматуллы узнал про него. Ведь он принц, только инкогнито соблюдает.

— Душа моя! ведь это, наконец, утомительно!

— Чего утомительно? да ты, взгляни, а потом и говори! вон они сидят. Науматулла-то уж камергером у него. С Бель-Вю рассчитался.

Я взглянул: действительно, восточный человек сидел за общим столом и пил шапманское, которое Науматулла, сидевший с ним рядом, наливал ему.

— Ты вот болтаешь, а потом голоден будешь, сказал я Прокопу: — садись-ка лучше да ешь.

— Нет, я хочу тебе доказать! Хотя я и не отгадчик, а взгляд у меня есть! Пест... пест... сделал он, кивая головой Науматулле. Науматулла встал, что-то почтительно доложил восточному человеку, потом налил три бокала и на тарелке поднес их нам.

— Принц просит здоровья кушать! сказал он.

Прокоп принял бокал, и, выступив несколько вперед, почтительно поклонился. Я и Стрекоза тоже взяли свои бокалы. Восточный человек, улыбаясь во весь рот, посмотрел на нас. Очевидно, впрочем, что он симпатизировал только Прокопу, а нам уж так, с боку припеку.

— Да какой же, однако, принц? спросил Стрекоза Науматулла.

— В Эйдкунен— всё будем говорить. До Эйдкунен— всё будем молчать. Еще шампанского, господа, угодно?

— Да может это мятежник какой-нибудь? усомнился вдруг Прокоп.

— Сказано: в Эйдкунен— всё будем говорить. И больше ничего! отвечал Науматулла и исчез с подносом в толпе.

Мы остались в недоумении, из которого первый нас вывел Прокоп.

— Как же с ним обращаться? чай титул у него есть? сказал он:— Науматулла, признаться, мне сказывал, да ведь этих саламаляк не поймешь. Заблудший, говорит.

— В Эйдкунене узнаем-с, отозвался Стрекоза.

— Беглый какой-нибудь! продолжал Прокоп²⁰: ишь, шельма, смелый какой! и не боится! так с своим обличьем и едет! вот бы тебя отсюда к станковому препроводить — узнал бы ты, как кузькину мать зовут.

— В Вержболове, быть может, так и поступят-с.

— А все-таки, принц! там как ни говори: свиное ухо— а и у них, коли принц, то видно, что есть свыше что-то. Вот кабы он к Наташеньке присватался, я бы его в нашу веру перевел. В Ташкент бы уехали, общими силами налоги бы придумывали, двор по примеру прочих содержали бы...

— Что ты? да ведь Ташкент-то теперь русский!

— А может царь и простит, назад велит отдать. Мы против России— ничего: мы— верные слуги. Контракт такой заключим. Смотри-ка! Науматулла опять никак шампанского несет! Не трогай, я его расспрошу!

Действительно, Науматулла опять стоял перед нами с наполненными бокалами и говорил:

— Второй раз прынец приказал здоровье пить! Он здоров и хочет, чтобы вы, господа русские, здоровы были!

— Да кто твой принц? Татарин что ли? спросил его Прокоп.

— Не татарин, а заблудший. В Эйдкунен всё скажем; до Эйдкунен — молчим.

— Пить ли? как-то сомнительно обратился ко мне Прокоп.

К счастью, звонок прервал все эти вопросы и недоразумения. Мы наскоро выпили и поспешили в вагоны, при чем я находу представил другу другу Стрекозу и Прокопа. В вагоне мы уж нашли восточного человека, уже расположившегося на своем месте. Прокоп тотчас же подошел к нему и поблагодарил за внимание, на что восточный человек отвечал, щелкнув пальцами по подушке соседнего места, как бы приглашая его сесть рядом.

Некоторое время Прокоп пытался завести разговор и, как всегда водится в подобных случаях, выдумал даже какой-то совершенно своеобразный язык для объяснения с восточным человеком.

— Далеко? луан? начал он, несколько раз махнув в воздухе рукою куда-то вдаль.

Восточный человек засмеялся в ответ и тоже махнул рукой.

— Дела есть? афер иль-я?

Восточный человек продолжал махать рукой.

— И я тоже туда! е муа осси леба! Я без дела! комса!

Но восточный человек, повидимому, ничего не понимал и только смотрел как-то удивительно весело, раскрыв рот до ушей.

— Не понимаешь? Ну, нечего делать, давай так сидеть; друг на дружку смотреть будем!

И в самом деле начали смотреть друг на друга, и вдруг им сделалось до того по душе, что оба расхохотались. За ними расхохотались и другие, так что даже Надежда Лаврентьевна полюбопытствовала и высунула через дверь голову из своего купе.

— А вот это — ма фам! как-то совсем неожиданно представил ее Прокоп восточному человеку.

— Наденька! поди к нам!

Надежда Лаврентьевна взошла к ним.

— Вот это — принц! а вот это — ма фам! продолжал Прокоп.

Надежда Лаврентьевна ничего не понимала и конфузилась. Восточный человек быстро вскочил с места, отвернул полу своего халата, порылся в кармане штанов и подал Надежде Лаврентьевне кусок шепталы, держа его между двух пальцев.

— Бери! после выбросишь! разрешил Прокоп недоумение жены своей. — Принц он! Ишь ведь куда, свиное ухо, гостинцы вздумал прятать! в штаны!

Но как ни весело было восточному человеку, и как ни мало требователен был с своей стороны и Прокоп насчет удовольствий, однако и ему надоело смотреть на принца и смеяться.

— Будет, брат! сказал он: — после коли еще захочется, давай опять!

А мне было еще тяжелее, потому что ко мне подсел Стрекоза и всё допрашивал, почему я его не уважаю.

— Из чего же вы заключаете это? оправдывался я.

— Да нет, я по глазам вижу. Скажите же, отчего вы меня не уважаете?

Я бился как рыба об лед, стремясь ежели не разуверить, то, по крайней мере, успокоить моего собеседника. Наконец, он видоизменил свой вопрос, предлагая его в той форме, какую он однажды уже высказал в зале вокзала.

— Вы мои последние распоряжения знаете?

Но к счастью, в это время подошел к нам Прокоп, решившийся, повидимому, расстаться с «принцем» и сказал:

— Чорт их знает, эти татары! Вот и смеялся, кажется, а смерть как скучно!

..... 21

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Выделено мною. — И. В.

² Письма к П. В. Анненкову от 2 декабря 1875 г. и к Н. А. Некрасову от 7 и 12 декабря 1875 г. и П. В. Анненкову от 5 января 1876 г.

³ Журнального текста. — И. В.

⁴ Некоторые из изменений имеют не цензурный, а стилистический характер. Очевидно имело место вмешательство М. Е. в текст в процессе печатания. Некоторые из его поправок значительно меняли текст, например: в беловом тексте — «вопрошая: виноват ты или нет?»; в журнальном — «вопрошая: «Скажи, сколько дал ты Потехину и ты ли заплатил за защиту Лавтева и Рудометова?» и др.

⁵ Подчеркнуто в оригинале.

⁶ Подчеркнуто М. Е. Салтыковым.

⁷ См. письмо к П. В. Анненкову от 8 мая 1876 г.

⁸ Для тех, кто хотел бы ознакомиться с ними текстуально, мы здесь, по причине ограниченности места, можем указать наиболее существенные из них по пятому изданию сочинений Салтыкова (1905—1906 гг.), т. IV.

- Стр. 611, строка 30: «Приду в пять часов... только ем».
- Стр. 613, строка 22: «То-то! «Проваливай»... Прощенье попросить!»
- Стр. 614, строка 43: «Бывало соберутся...—показал фигу»...
- Стр. 619, строка 15: «Встретишь бывало... И летишь дальше».
- Стр. 622, строка 30: «И для чего он... о себе заключает...»
- Стр. 626, строка 34: «Не явись Прокоп... фу, мерзость!»
- Стр. 629, строка 31: «Вот года три назад... акцизную-то часть ввел!»
- Стр. 630, строка 29: «Поэтому он вышел... идем к жене» (стр. 631, строка 9).
- Стр. 633, строка 1: «И прекрасно, брат... О том-то я и говорю. А впрочем...»
- (стр. 634, строка 21).
- Стр. 640, строка 6: «Но неизвестность... в роде убежища».
- Стр. 640, строка 24: «Современная жизнь... всякого рода смутность».
- Стр. 643, строка 16: «Понюхать или взаправду?... или не поджег?»
- Стр. 644, строка 10: «Не доказать, а доказывать... и выпрает дело».
- Стр. 645, строка 35: «Признаюсь... волновало меня».
- Стр. 641, строка 3: «Признаюсь вам... какой-то мотив».
- Стр. 641, строка 15: «Многие так рассуждают... но это так!»
- ⁹ Пропуск в рукописи; восстанавливается по смыслу.
- ¹⁰ Духа сословия.
- ¹¹ Позвольте выйти.
- ¹² Не разобрано одно слово в рукописи.
- ¹³ Залупск! Что такое Залупск?
- ¹⁴ В рукописи «Ивановна».
- ¹⁵ В рукописи пропуск; восстанавливается по смыслу.
- ¹⁶ В рукописи — «толстоты».
- ¹⁷ Глава не закончена в рукописи; строчка точек — редакционное обозначение, в рукописи отсутствующее.
- ¹⁸ Одно слово не разобрано.
- ¹⁹ Глава не закончена в рукописи; строчка точек — редакционное обозначение, в рукописи отсутствующее.
- ²⁰ В рукописи — Стрекоза.
- ²¹ Рукопись на этом обрывается: строчка точек — редакционное обозначение, в рукописи отсутствующее.